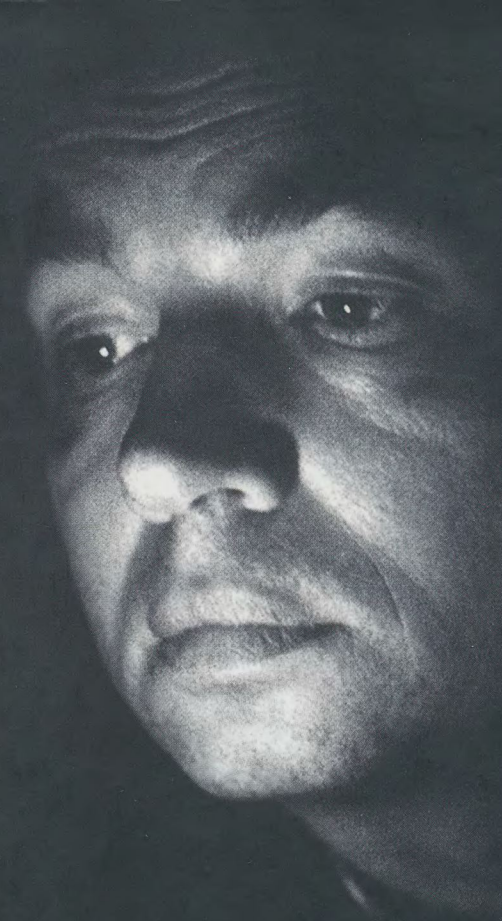


АНДРЕЙ ДАЙТЕ  
ВОЗНЕСЕНСКИЙ  
МНЕ ДА ГОВОРИТЬ!

АНДРЕЙ  
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ДА ГОВОРИТЬ!



**АНДРЕЙ  
ВОЗНЕСЕНСКИЙ**



**АНДРЕЙ  
ВОЗНЕСЕНСКИЙ**

**ДАЙТЕ  
МНЕ  
ДОГОВОРИТЬ!**

МОСКВА



ЭКСПО

2 0 1 0

УДК 82-1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-5  
В 64

Составитель, автор предисловия  
и комментариев *Анна Саед-Шах*

Оформление *Александра Новикова*

*Благодарность всем авторам,  
чьи заметки и интервью  
помогли в создании этого сборника*

**Вознесенский А.**

В 64      Дайте мне договорить! / Андрей Вознесенский ; [сост.,  
предисл., коммент. А. Саед-Шах]. — М. : Эксмо, 2010. —  
384 с. : ил. — (Стихи и биографии).

ISBN 978-5-699-40482-7

Стоит ли напоминать, что Андрей Вознесенский – один из самых выдающихся поэтов второй половины XX века и начала нынешнего, XXI! Это и так знают все.

Он ворвался в русскую поэзию, как принц на белом коне метафоры, сразу став лакомым куском для эпигонов и критиков! Покоритель дворцов, площадей и стадионов — мечта самых прелестных женщин мира!

В этой книге впервые лучшие стихи поэта переплетаются с важнейшими вехами его судьбы. Впервые собраны не только прежде неизвестные факты биографии, воспоминания, но и беседы с известными журналистами, высказывания критиков и соратров по поэтическому цеху.

УДК 82-1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

© Вознесенский А.А., 2010  
© Саед-Шах А.Ю., составление,  
предисловие, 2010  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2010

ISBN 978-5-699-40482-7

*Поэзия возвращает человеку его человеческое измерение. Коперник первым открыл человека как провинциальную особь во Вселенной: человек не царь, а провинциал. Гете назвал это открытие равным Библии. Мы с вами провинциалы Вселенной...*

*Андрей Вознесенский*



## ПРОРОК НЕ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ?

На Парижском фестивале «Триумф» (1996) газета «Нувель Обсерватер» назвала А.А. Вознесенского «самым великим поэтом современности». Возможно, так оно и есть. По крайней мере, в «голодные» литературные годы для нас, школьников, задыхавшихся от дурновкусия официальной советской поэзии, Вознесенский был глотком свежего воздуха и нездешней свободы. Наверное, именно поэтому, подмораживая оттепель, тогдашний глава государства Никита Хрущев выбрал для публичной порки в Кремле именно Вознесенского, молодого, дерзкого, уже успевшего стать частью не только отечественной, но и западной культуры (его стихи переводили такие знаменитые поэты, как Уинстен Оден, Стенли Кьюнитц, Ален Гинсберг...). Скорее всего, глава государства, крича и размахивая с трибуны кулаками, хотел нагнать страху не только на остальных молодых поэтов, но и на молодых читателей. Ведь нам в



---

ту пору Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Окуджава, Рождественский заменяли Пастернака, Мандельштама... Цветаеву... Ходасевича... Ахматову, — словом, всех, кого мы не могли увидеть на книжных полках магазинов или в списке литературы хотя бы для внеклассного чтения.. Они собирали стадионы и дворцы спорта, их боготворили, им подражали, завидовали... Они были мостиком, по которому мы гуськом шли к новой форме поэтического сознания... Время изменилось... Мы стали зачитываться поэтами, по ком десятки лет тосковали полки книжных магазинов. Стали появляться и новые кумиры. А прежних, как водится, начали активно сбрасывать с «корабля современности». Что ж, мавр сделал свое дело... Да и нет, как известно, пророков в своем отечестве. Разве что Пушкин! Но и ему повезло — он не успел пережить собственную славу. Но если представить, что Пушкин убивает Дантеса, Лермонтов — Мартынова... и оба доживают до глубокой старости?.. Мандельштам не погибает за стихотворение о Сталине, Пастернак не публикует за границей «Доктора Живаго», Бунин и Бродский остаются в России... Цветаева... Ахматова... Талант и слава далеко не всегда находят друг друга. Слава не терпит благополучия. Она, в основном, питается кровью...

Андрей Вознесенский никуда не уехал (даже после «хрущевского» скандала в Кремле). Вознесенского не посадили, не убили...

---

Вот уже 13 лет Андрей Вознесенский яростно борется с тяжелой болезнью. Но это, увы, не скандал. Это всего лишь беда. Его и Зои. Все эти годы поэт пренебрегает мнением окружающих: мол, пора бы уже успокоиться, болеть себе на здоровье, грибочки на участке собирать, лютики нюхать. А он все куда-то едет, летит, проводит фестивали, вручает премии... И все время пишет, будто кричит в небеса (как когда-то генсеку Хрущеву): «Дайте мне договорить!» И никогда ни на что не жалуется.

А на что жаловаться? Ведь он — лауреат Государственной премии СССР аж 1978-го года! Видимо, приурочили к 45-летнему юбилею. И это — все! Хотя нет, за прошедшие более чем 30 лет Вознесенский дважды удостаивался американских премий.

*Анна Саед-Шах*

*P.S.* В книге будут иногда повторяться названия глав. Это не случайно. К примеру, «Поэт и слово». В одной главе — это рассказ о том, «из какого сора» прорастают поэтические зерна, в другой — о влиянии поэтического слова на сознание людей и судьбу самого поэта. Главы «Поэт и родник» вмещают в себя совершенно разные понятия. Родник — это люди, от которых родился прадед, архимандрит Полисадов, родители. Конечно, это его учителя и, в первую очередь, драгоценный наставник — Борис Леонидович Пастернак. Но родник — это и живой

---

переделкинский источник, что бьет недалеко от дачи поэта. К нему, к этому роднику, поэт много лет ходит не столько за ключевой водой, сколько за ключевой рифмой для нового стихотворения.

*P.P.S.* Курсив — мой! Таким образом, читатель легко отделит комментарии составителя от текста самого автора.

## ПОЭТ И РОДНИК

Профессией и делом жизни отца моего было проектирование гидростанций, внутренней страстью — любовь к русской истории и искусству.

Мальчик «из хорошей семьи», сын врача, внук священника, он, начитавшись романтических книжек, вступил в партию и шестнадцати лет во время Гражданской войны в течение полугода был секретарем райкома маленького городишки Киржача. Городок был тихий, никого не расстреливали. В партии были шесть мальчишек и двое взрослых. Но белые бы пришли — повесили.

Отец с юмором рассказывал, как они, школьники, на глазах у моргавшего учителя клали наган на парту. Потом отец ушел из политики, поехал учиться в Питер, кончил Политехнический. Дальше геологические изыскания. Проектирование гидростанций. Мама моя кончила два курса филфака и Брюсовские курсы, она привила мне вкус к Северянину, Ахматов-



*Мама*



*Папа*

---

вой, Звягинцевой, Кузмину... Отец ввел мое детство в мир Врубеля, Рериха, Юона, мир старых мастеров... Меня он стыдил за приклатненный жаргон.

В эвакуации мы жили за Уралом.

Хозяин дома, который пустил нас, Константин Харитонович, машинист на пенсии — сухонький, шустрый, застенчивый, когда выпьет — некогда увез у своего брата жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну. Поэтому они и жили в глуши, так и не расписавшись, опасаясь грозного мстителя.

Жилось нам туго. Все, что привезли, сменяли на продукты. Отец был в ленинградской блокаде. Говорили, что он ранен. Мать, приходя с работы, плакала. И вдруг отец возвращается — худющий, небритый, в черной гимнастерке и с брезентовым рюкзаком.

Хозяин, торжественный и смущенный более обычного, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезанного сала, «Со спасеньицем». Отец хлопнул водку, обтер губы тыльной стороной ладони, поблагодарствовал, а сало отдал нам.

Потом мы шли смотреть, что в рюкзаке. Там была тускло-желтая банка американской тушенки и книга художника под названием «Гойя».

Я ничего об этом художнике не знал. Но в книге расстреливали партизан, мотались тела повешенных, корчилась война. Об этом же ежедневно говорил на кухне черный бумажный репродуктор. Отец с этой книгой летел через линию фронта. Все это связалось в одно страшное имя — Гойя.

---

Гойя — так гудели эвакуационные поезда великого переселения народа. Гойя — так стонали сирены и бомбы перед нашим отъездом из Москвы. Гойя — так выли волки за деревней, Гойя — так причитала соседка, получив похоронку...

### гойя

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворон,  
слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — голос  
войны, городов головни  
на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я — горло  
повешенной бабы, чье тело, как колокол,  
било над площадью голой...

Я — Гойя!

О, грозди  
возмездья! Взвил залпом на Запад —  
я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —  
как гвозди.

Я — Гойя.

1959



*Андрей Андреевич Вознесенский родился 12 мая 1933 года в Москве. Отец — Андрей Николаевич Вознесенский (1903—1974), мать — Антонина Сергеевна Вознесенская, урожденная Пастушихина (1905—1983). Прапрадед Андрея Андреевича, Андрей Полисадов был архимандритом, настоятелем Благовещенского Муромского собора на Посаде.*

*Понятно, что отец стыдил маленького Андрюшу за «приблатненный жаргон». Действительно, откуда было набраться нецензурицины мальчику из приличной семьи? Повзрослев, мальчик не перестал материться... даже в стихах. Причем, вполне органично. Сам поэт позже напишет: «Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство помимо дома?» — я бы ответил: «Двор и Пастернак». Но так как употреблять «жаргон» Андрюша начал задолго до знакомства с Пастернаком, начнем — с воспитания двором.*



## ПОЭТ И СЛОВО

Мальчик возвращался из школы по зимним курганским улочкам. Плечи второклассника стягивал ранец. Смеркалось.

В одноэтажных домишках кое-где таинственно зажигались святочные слюдяные окна. Уральский морозец щипал щеки малолетнего москвича. Он дышал через шарф.



---

На углу Железнодорожной улицы он заметил трех огольцов, чем-то занятых у сухого дерева.

«Аборигены, — размышлял мальчик, — гвардейцы кардинала хуевы. Ща отметелят. Пора съебывать через пустырь».

Но подростки не обратили внимания на нашего путника.

Они играли в гестаповцев. Главный был одет в черную шинель, на пряжке ремня отсвечивали буквы «ЖУ». Судили партизанку. Партизанкой была дворняжка, вернее, щенок, черный с рыжими подпалинами. Дерево служило виселицей. Кутяш тыкался мордой в руки мучителей, не понимая плачевности своего положения. Четвертый побежал домой за веревкой. Шел допрос.

— У, засранка, комсомольская пробляды! Где Сталин?! Отвечай, падаль. Ссы на его портрет, а не то вздернем. Блядь буду, вот те крест, век свободы не видать...

— Хуй вам в жопу, — отвечала героическая партизанка. — Сталин придет, всех вас раком выебет. На жопу глаз натянет! Вам всем срать не досрать до великого вождя.

Мальчик подошел ближе. «А ведь они замудохают щенка».

— Ты чо?! Хули тебе, куированный? — Гестаповцы уставились на мальчика.

— Москвичка — в жопе спичка, — тоненько завопил дразнилку меньшей из них, тот, который озвучивал партию партизанки.

---

— Курган — в жопе наган, — находчиво отпарировал москвич. — Пацаны! Махнемся? Кутенка — на лупу...

Он достал из кармана свое заветное сокровище — увеличительное стекло, все в ссадинах от ношения в кармане, «За собачку, бля...»

Сделка состоялась. «Ну, хуярь отсюда, — прокричал ему вслед старший. — Ишо раз пымаем — отпиздим».

Мальчик бежал домой. На груди, под пальто, у него дышал теплый комок, билось сердечко, существо еще более беззащитное, чем он, которое он мог спасти, помочь.

«Как охмурить родителей? Ни фига, щеночек, прорвемся как-нибудь...» — думал малыш.

«Спаситель мой, Виконт де Бражелон, незнакомый рыцарь мой, ты пахнешь бубликом, цветочным мылом, чистым детским потом, мое сердечко разрывается от преданности к тебе, я вырасту большой, буду защищать тебя от жестокого мира, буду есть из твоих рук, ах, боже мой, какое счастье — засыпать на его груди», — думала обмененная пленница.

Назвали ее Джульбой. Она провожала меня в школу, прячась за кустами, ожидала после уроков, визжа от вожделения, прыгала и лизала в лицо.

Собственно, мы были почти одной породы с ней, дети огородов, чистых низких инстинктов. Уровень наших глаз совпадал. Мы видели мир снизу.

Мы воровали подсолнухи, жрали жмых, были сви-

---

детелями кошачьих, куриных и собачьих свадеб. Постоянно голодные, мы, как и наши четвероногие собратья, промышляли, где бы что откусить. Как и они, мы настороженно относились к взрослым, опасаясь подвоха. Мы дразнили старшего мальчика «проститут», за его страсть с козой. Он был неопрятен, соплив, но улыбался чему-то не изведенному нами. Лексикон, ныне называемый ненормативным, выражал для нас чистую, первозданную суть природы. Мы знали и, спрятавшись, глазели, когда по утрам сосед Николаев шагал в дощатую скворечню уборной. За ним шла красавица Надежда. Когда он садился на очко, как на трон, она становилась перед ним на колени.

Джудьба была с нами и, затаившись, замирала.

Порой я прятал ее под кроватью, и мы засыпали с ней, сопя от счастья и понимания.

Когда приходили гости и собиралось застолье, меня клали за занавеской в той же комнате. За полночь они пели песни. Как-то, помню, мама, нарядная и раскрасневшаяся, заглянула за занавеску.

— Ты что не спишь?

— Песню жду.

— Какую еще песню?

— Про мышку.

— Про какую еще мышку?

— Про шумелку.

— ??

— Шумелка — мышь... мышка...

— Какая же мышь — шумелка? Она тихая...

«Шумел камыш, шумелкамышумелкамышумелка-

---

мыш», затагнули гости. Я уплывал в эту мелодию. Джульба посапывала в такт под одеялом.

Хозяйка наша Анна Ивановна, пустившая эвакуированных в свой дом, под вечер садилась на крыльцо и, дыша перегаром, трепала Джульбу: «У, шишига, кикимора лесная, девочка, целка ты, еще не ебаная...» Джульба урчала от счастья.

Но однажды отец объявил, что завтра мы уезжаем в Москву, ура!

— А Джульба? — Мы с сестрой ударились в рев. Родители переглянулись и обещали взять ее с собой.

На станции во время погрузки, среди летней пыли, она томила, привязанная к столбу. Ее должны были отправить грузовым вагоном вместе с лошадьми.

— Охуели совсем! — взмолился измученный хозяиственныйник по фамилии Баренбург. Он матерился дискантом, как будто мелко крестился. — Да она же лошадей покусает...

Задыхаясь, я бежал от станции к дому на Железнодорожной. Передо мной, визжа от счастья, неслась Джульба, понимая, что бежит домой, но не чуя, что мы расстаемся.

...Под стук колес, зареванный, не простив предательства взрослых, я написал первые в жизни стихи. О первой сердечной боли, о первой любви.

Джульба, помнишь тот день на станции,  
Куда на веревке тебя привели?  
Трудно было расстаться нам  
В этой серой курганской пыли.

---

Джужьба, помнишь, когда в отчаяньи,  
Проклиная Баренбурга что есть силы,  
Клялся тебе хозяин  
Не забыть тебя до могилы?

Анна Ивановна прислала нам письмо. В первых строках она сообщала, что Джужьба как сбесилась, она врывается в комнаты, ищет, кидается на людей, не ест, воеет. «Все ищет мальчика», — писала хозяйка.

Жили мы на Большой Серпуховке, в надстройке над корпусом, принадлежавшим бывшему заводу Михельсона. Написать бы дневник домов!

Первый служитель муз, с которым меня свела судьба — инженер Виктор Ярош, — жил в соседней квартире.

Кудрявый, уже начавший тяжелеть Лель, он принадлежал к той моложавой породе вечных мальчиков, бескорыстных рыцарей российской поэзии, чье служение вдвойне самоотверженно и свято, ибо безвестно. Их жизни, быт бывают внешне нескладны, порой разбиты, но внутренне особо прекрасны, ибо озарены несбыточным. Еще до войны он напечатался в газете «Литература и искусство». И показал мне этот пожелтевший номер, стертый и сыплющийся на сгибах. Писал он под Есенина.

Заметет осенняя пороша / Будут только где-то вьюги петь / И не будет Виктора Яроша, — глуховато читал он, певуче смягчая по-украински «г». Фамилия «Ярош» в жизни имела ударение на первом

---

слоге, в стихах же — на втором, что противоречило реальности. «Для рифмы!» — смекнул я.

В таинственной комнатухе его, как алтарь, мерцала корешками книжная полка. Поблескивал золотой веночек на лазурном корешке Есенина. Хозяин открыл мне пленительную прелесть «великих малых» российских поэтов — Фета, Тютчева, Полонского, Федора Глинки. Он заворожил меня ими, я знал их наизусть, позднее я познал «гигантов». Таким образом, литературное воспитание мое прошло естественно — от малого к большому, а не наоборот, как обычно случается.

К моим первым поэтическим опытам он был снисходителен. Собственно, это были не стихи, а детские переживания, сдобренные плохо переваренным столь милым его сердцу Есениным.

## ПОЭТ И УЛИЦА

О, эти дворы Замоскворечья послевоенной поры!

4-й Щипковский переулок! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек, майских жуков на тогда земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом «Рио-риты» из окон и стертой, соскальзывавшей лещенковской «Муркой», записанной на рентгенокостях.

Двор был котлом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора,

---

огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все...

У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку кипятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Он только стиснул зубы, окруженный почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохарям на братах Д. можно было догадаться о том, кто грабанул магазин на Мытной.

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, собирали в подмосковных лесах. В подъез-



*Я — в шестом*

---

дах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто.

В пуховых тополях утопала наша бедовой памяти школа.

Спившиеся директора в ней менялись, как тренеры безнадежной команды. Чужая своя погибель, они крутили любовь с заведующей нашим методкабинетом, роковой брюнеткой, казавшейся мне замоскворецкой Незнакомкой. Она утирала слезы, куталась в дареное каракулевое манто и проходила свидетельницей по процессам о растратах.

Я думаю: почему из такой бесхозной с виду школы вышли яркие физики, военачальники, режиссеры, деятели космоса, такие личности сложились? Так в трудных «небогатых» семьях складываются сильные характеры. Трудными бывают не только дети, но и родители. Спасибо тебе, трудная, незабвенная святая школа! Мы любили тебя.

...Вздрагивали и подпрыгивали трамваи от подложенных нами на рельсы капсюлей и автоматных патронов. Иногда вагоновожатый тормозил и весь вагон гонялся за виновниками. Сейчас, вспоминая наши детские злодейства, содрогаешься — ведь мы могли кого-нибудь ранить. Когда Борис из соседнего подъезда воровал из бочки карбид, он зажег спичку, бочка взорвалась, и ему кованой крышкой оторвало щеку.

В шестом классе мне купили шубу.

До этого я несколько лет ходил в школу в латаном-перелатаном пальтишке с надставленными ру-





*А. Вознесенский. Автопортрет. 1958 год*

кавами, которое постепенно, по мере моего роста, превратилось в курточку, а хлястик приближался к лопаткам, одежда тогда не смущала никого. Я дружил с Есиповым, скрипачом нашего класса, носившим защитный старенький ватничек и новенький скрипичный футляр. Другим моим приятелем был Володя, сын завмага, высоченный лоб в кожаной шубе, с налетом наглицы в глазах — я любил его. Он водился со старшими с Зацепы, у него случались деньжата. Где вы теперь, кумиры нашего двора —

---

Фикса, Волядя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы...

...Лифты не работали. Главной забавой детства было, открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка отпустив трос, вы могли регулировать скорость движения. В тросе были стальные заусенцы. На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.

...Игра называлась «жосточка». Медную монету обвязывали тряпицей, перевязывали ниткой сверху, оставляя торчащий султанчик — как завертывается в бумажку трюфель. «Жосточку» подкидывали внутренней стороной ноги, «щечкой». Она падала грязным грузиком вниз. Чемпион двора ухитрялся доходить до 160 раз. Он был кривоног и имел ступню, подвернутую во внутрь. Мы ему завидовали.

О, незабвенные жосточки — трюфели военной поры! Шиком старших были золотые коронки — фиксы, которые ставились на здоровые зубы, и жемчужины, зашитые под кожу детородного члена. Мы же довольствовались наколками, сделанными чернильным пером.

Замоскворечье давало мне уроки. Сейчас я ищу Стремянный и, вот странно, не могу его найти. Вход в него с Серпуховки застроен, затянулся, как заросшее устье. Стремянный назван по расположенному когда-то здесь двору стремянного конюха Букина. На первом плане Москвы 1739 года он обо-



*С отцом и сестрой — 40-е годы*

---

значался как единственный восточный приток Серпуховки. И надо же!..

Память подвижников, ушедших создателей, проступала сквозь Замоскворечье моего детства. Звенели трамваи. Гудели золотые пчелы в дремотных цветущих липах на вечерней Большой Ордынке. Начиналась Ордынка филиалом Малого театра. Там я в школьные годы пересмотрел почти всего Островского — Третьяковку русской речи. Замоскворечье является нутром Москвы даже в большей степени, чем Арбат... даже сейчас, покалеченное, преступно разоренное, оно влияет на другие районы города, сообщая им московский дух.

Иногда из соседнего двора забредал Андрей Тарковский.

Я пару раз видел его ранее во дворе, жил он в соседнем переулке, там даже однажды играли в футбол, но познакомились лишь в школе. Так вот, однажды мы во дворе стукали в одни ворота. Воротами была бетонная стенка. Мяч был резиновый. На асфальте стояли лужи. Скучая по проходящей вечности, с нами играл Шка — взрослый лоб, блатной из 3-го корпуса. Во рту у него поблескивала фикса. Он уже воровал, вышел из колонии, похваляясь, что на днях в Парке им. Горького они застрелили сторожа, чтобы проверить нервы. Его боялись. И постоянно отдавали ему мяч.

Около нас остановился бледный парень, чужого двора, комплекса своей сеткой с хлебом. Именно его я потом узнал в странном новеньком нашего

---

класса. Чужой был одет в белый свитер крупной, грубой, наверное, домашней вязки, Он и потом любил вязаные белые кепки и свитера. «Становись на ворота», добродушно бросил ему Шка; фикса его вспыхнула усмешкой, он загорелся предстоящей забавой.

Андрей поставил авоську у стенки.

Своего свитера он не щадил. Он бросался в ноги... Через час свитер был не чище половой тряпки.

Да вы же убьете его, суки!  
Темнеет, темнеет окрест.  
И бывшие белые ноги и руки  
летят, как Андреевский крест.

Да они и правда убьют его! Я переглянулся с корешем — тот понимает меня, и мы выбиваем мяч на проезжую часть переулка, под грузовики. Мячик испускает дух. Совсем стемнело. Мы убежали, боясь расправы мстительного Шки.

Когда уходил он,  
зажавши кашель,  
двор понял, какой он больной.  
Он шел, обернувшись к темени нашей  
незапятнанной белой спиной.

Незабываемо его явление к нам в девятый «В» 554-й школы. Новенький был странный. Худой. Рассеянный. Черный волос, крепкий, как конский, обрамлял бледные скулы. Он отстал на год из-за ту-

---

беркулеза. Вспомнилось, как, сев верхом на свободную парту, ошарашил нас сентенцией: «В 15 лет и не иметь любовницы?!» Ни у кого из нас, оболтусов, любовниц тогда не было, но мы понимающе засопели. Голос у него был высокий, будто пел, растягивая гласные. Был он азартен. Отнюдь не паинька.

Он был старше меня на год, а младше на год учился в нашей школе Саша Мень.



*Андрей Тарковский. Москва, 1952 год*

---

Мы с Тарковским учились в одном классе. Он был единственным стилиягой, ярким вызовом в серой гамме нашей школы. Зеленые брюки венчал оранжевый пиджак, сфарцованный у редкого тогда иностранца. По размеру он походил на пальто. Денег подрубить рукава не было. Директор собирал нас и вещал: «Дети, если вы не будете слушаться учителей, пионерскую организацию — вы вырастаете, как долгогривый Тарковский». С длинными патлами его не допускали к экзаменам — пришлось постричься под полубокс. Мы дружили с ним. Он единственный в классе знал о Пастернаке, что не мешало нам ценить прохаря и финки.

Семья их бедствовала. Отец оставил их с мамой, бабушкой и сестренкой Мариной. Они жили в двухэтажном домишке. Мы с ним в классе были ближе других. Его сестра Марина прибежала позировать мне для акварельных портретов: у нее была ренуаровская головка. Из школы нам было по дороге. Вся грязь и поэзия наших подворотен, угрюмость недетского детства, уличное геройство, вошедшее в кровь, выстраданность так называемой эпохи культа, отпечатавшись в сетчатке его глаза, стали «Зеркалом» времени, мутным и непонятным для непосвященных. Это и сделало его великим кинорежиссером века.

### **ТАРКОВСКИЙ НА ВОРОТАХ**

Стоит белый свитер в воротах.  
Тринадцатилетний Андрей.  
Бей, урка дворовый,  
Бей, урка дворовый,

---

бутцей ворованной,  
по белому свитеру  
бей —  
по интеллигентской породе!

В одни ворота игра.  
За то, что напаялился белой вороной  
в мазутную грязь двора.

Бей белые свитера!

Мазила!  
За то, что мазила, бей!  
Пускай простирает Джульетта Мазина.  
Сдай свитер  
в абстрактный музей.

Бей, детство двора,  
за домашнюю рвотину,  
что с детства твой свет погорел,  
за то, что ты знаешь  
широкую родину  
по ласкам блатных лагерей.

Бей щеткой, бей пыром,  
бей хором, бей миром  
всех «хоров» и «отлов» зубрил,  
бей по непонятному ориентиру.

Не гол — человека забил,  
за то, что дороги в стране развезло,  
что в пьяном зачат грехе,  
что, мяч ожидая,



---

вратарь назло  
стоит к тебе буквой «х».

С великою темью смешон поединок.  
Но белое пятнышко,  
муть,  
бросается в ноги,  
с усталых ботинок  
всю грязь принимая на грудь.

Передо мной блеснуло азартной фиксой потное  
лицо Шки. Дело шло к финалу.

Подошвы двор вытер  
о белый свитер.  
— Андрюха! Борьба за тебя.

— Ты был к нам жестокий,  
не стал шестеркой,  
не дал нам забить себя.

.....

Андрюша, в Париже ты вспомнишь ту жижу  
в поспешной могиле чужой.  
Ты вспомнишь не урок — Щипок-переулок.  
А вдруг прилетишь домой?

Прости, если поздно. Лежи, если рано.  
Не знаем твоих тревог.  
Пока ж над страной трепещут экраны,  
как распятый  
твой свитерок.

---

## ПОЭТ И РОДНИК



*В Переделкине я живу через два дома от Вознесенских. Много лет по утрам и вечерам проходил Андрей Андреевич мимо моих ворот вниз, к роднику. Как говорил сам — за рифмами. До него к этому же роднику ходил Борис Пастернак, дом-музей которого калиткой соединен с дачей Вознесенского. Иначе и не могло случиться.*



Мне 14 лет.

«Тебя Пастернак к телефону!»

Оцепеневшие родители уставились на меня. Никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку восьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверью, видимо, услышали хлопнувший лифт. Дверь отворилась.

Он стоял в дверях.

Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлинленно-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая вязаная кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечку. Он стоял на сквозняке двери.



*Кабинет Пастернака в Переделкине*

Сухая, сильная кисть пианиста.

Поразила аскеза, нищий простор его нетопленного кабинета. Квадратное фото Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был прикован к переводам. На столе жались моя ученическая тетрадка, вероятно, приготовленная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.

Скулы его подрагивали, как треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом. Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная непригодность. Когда он говорил, он поддегивал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела.

---

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю: короткий нос его, начиная с углубления переносицы, сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное — это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом...»

Через два часа я шел от него, неся в охалке его рукопись — для прочтения и самое драгоценное — машинописную только что законченную первую часть его нового романа в прозе под названием «Доктор Живаго» и изумрудную тетрадь новых стихов из этого романа, сброшюрованную багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

И холодно было младенцу в вертепе...  
Все елки на свете, все сны детворы,  
Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

В стихах было ощущение школьника дореволюционной Москвы, завораживало детство — серьезнейшая из загадок Пастернака.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его души. Я застал его осень. Осень ясна до яснovidенья. И страна детства приблизилась.

...Все яблони, все золотые шары...

---

С этого дня жизнь моя решилась, обрела волшебный смысл и предназначение: его новые стихи, телефонные разговоры, воскресные беседы у него с двух до четырех, прогулки — годы счастья и ребячьей влюбленности.

...Почему он откликнулся мне?

Он был одинок в те годы, отвержен, изнемог от травли, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее — льва со щенком.

Как-то мелочные пуритане напали на меня за то, что я напечатался не в том органе, где бы им хотелось. Тогда Пастернак рассказал за столом притчу про Фета. В подобной же ситуации Фет будто бы ответил: «Если бы Шмидт (кажется, так именовался самый низкопробный петербургский тогдашний сапожник) выпускал грязный листок, который назывался бы словом из трех букв, я все равно бы там печатался. Стихи очищают».

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тигциановской золотой строфой — по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности:

...Ты так же сбрасываешь платье,  
Как роща сбрасывает листья,  
Когда ты падаешь в объятье  
В халате с шелковой кистью.



*Музей Пастернака*

(Первоначальный вариант:)

Твое распахнутое платье,  
Как рощей сброшенные листья...

Утром оп позвонил мне: «Может быть, вам показалось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не должен был давать вам его, говорит, что это слишком вольно...»

Знакомство с ним совпало с моей первой любовью...

Она была учительницей английского в нашей

---

школе. Роман наш начался внезапно и обвально. Жила она в общежитии на Ордынке. Мы целовались на ночных зимних лавочках, из-под которых выныривали вездесущие третьеклассники и радостно вопили: «Здравствуйте, Елена Сергеевна!»

А как сердце обмирало при молчании в телефонной трубке!

Фантазерка, в прошлом натурщица у Герасимова, что нашла она в неопытном школьнике?

Ты опоздал на десять лет,  
Но все-таки тебя мне надо —

читала она мне. И распускала черные косы.

В ней был неосознанный протест против ненавидимого порядка жизни — эти, перехватывающие дух, свидания в темной учительской, любовь казалась нам нашей революцией. Родители были в ужасе, а мы читали с ней «Джаз» Казарновского, ее бывшего приятеля, сгинувшего в лагере. Она притаскивала мне старые номера «Красной нови», которые выбрасывались из школьной библиотеки. Загадочный мир маячил за ней. «Уходить раз и навсегда» — это было ее уроком.

### **ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА**

Борька — Любку, Чубук — двух Мил,  
а он учителку полюбил!

Елена Сергеевна, ах, она...  
(Ленка по уши влюблена!)

---

Елена Сергеевна входит в класс.  
(«Милый!» — Ленка кричит из глаз.)

Елена Сергеевна ведет урок.  
(Ленка, вспыхнув, крошит мелок.)

Понимая, не понимая,  
точно в церкви или в кино,  
мы взирали, как над пеналами  
шло

таинственное

о н о...

И стоит она возле окон —  
чернокобая, синеокая,  
закусивши свой красный рот,  
белый табель его берет!

Что им делать, таким двоим?  
Мы не ведаем, что творим.  
Педсоветы сидят:

«Учтите,  
вы советский, никак, учитель!

На Смоленской вас вместе видели...»  
Как возмездье, грядут родители.  
Ленка-хищница, Ленка-мразь,  
ты ребенка втоптала в грязь!

О спасибо моя учительница  
за твою высоту лучистую



---

как сквозь первый ночной снежок  
я затверживал твой урок,

и сейчас как звон выручалочки  
из жемчужных уплывших стран  
окликает меня англичаночка —  
«проспишь алгебру,  
мальчуган...»

Ленка, милая, Ленка — где?  
Ленка где-то в Алма-Ате.  
Ленку сшибли, как птицу влет...  
Елена Сергеевна водку пьет.

1958

Ей одной я доверил свое знакомство с Пастернаком, дал почитать рукопись «Доктора Живаго». Она подтрунивала над длинными именами-отчествами героев, дразнила меня якобы непониманием. Может быть, она ревновала?

Красивый авантюризм был в ее характере. Она привила мне вкус к риску. И театральности жизни. Она стала моей второй тайной жизнью. Первой тайной жизнью был Пастернак.

Как среда обитания поэту необходима тайная жизнь, тайная свобода. Без нее нет поэта.

Поддержка его мне была в самой его судьбе, которая светила рядом. Никогда и в голову мне не могло прийти попросить о чем-то практическом — например, помочь напечататься или что-то в этом

---

же роде. Я был убежден, что в поэзию не входят по протекции. Когда я понял, что пришла пора печатать стихи, я, не говоря ему ни слова, пошел по редакциям, как все, без вспомогательных телефонных звонков, прошел все предпечатные мытарства. Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии толстого журнала, зовет меня в кабинет. Усаживает — этакая радушная туша, бегемотина. Смотрит влюбленно.

— Вы сын?

— Да, но...

— Никаких «но». Сейчас уже можно. Не таитесь. Он же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын...

— Да, но...

— Никаких «но». Мы даем ваши стихи в номер. Нас поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам удаются приметы нашего атомного века, словечки современные, ну вот, например, вы пишете «кариатиды...» Поздравляю.

(Как я потом понял, оп принял меня за сына Н.А. Вознесенского, бывшего председателя Госплана, впоследствии расстрелянного по Ленинградскому делу.)

— ...То есть как не сын? Как однофамилец? Что же вы нам голову тут морочите? Не позволим. А я все думал — как у такого отца, вернее, не отца... Какого еще чаю?

Но потом как-то напечатался. Первую, пахнущую краской «Литгазету» с подборкой стихов привез Пастернаку в Переделкино.

## **В ЗЕРКАЛАХ: ВОЗНЕСЕНСКИЙ**

*из книги «Борис Пастернак»*

...У Пастернака всегда было множество поклонников и подражателей, но ученик — один. В последние годы, когда его вечное рассеянное «да» сменилось решительным и раздраженным «нет», говорившимся по поводу и без повода на любые обеты, посулы и соблазны советской действительности, — к нему в выучку просилось множество молодых читателей: они присылали стихи по почте, передавали их через общих знакомых (в частности, через старшего сына — Евгения Борисовича), отлавливали Пастернака в Тбилиси, набивались в гости. Большинству Пастернак отвечал раздраженно и стереотипно: вы не без способностей, но все ваши стихи похожи на сотни других (он пренебрежительно упоминал Антокольского, Тихонова, Асеева, — вообще из всех советских поэтов раздражения его не вызывали только «крестьянские» — Твардовский, Исаковский, за которыми он чувствовал живой, не книжный опыт, сказывавшийся и в отсутствии натужного пафоса).

Имен большинства пастернаковских адресатов и собеседников, которым он отказал в ученичестве, история не сохранила;

---

есть три письма с отповедями. По ним видно, до какой степени он ненавидел советскую трескучую риторику и сам институт литературного ученичества — тоже, если вдуматься, довольно советский. Отношение его к этой традиции было сродни блоковскому отношению к студии Гумилева: думает, что учит, а на самом деле окружает себя ордой молодых поклонников, глядящих ему в рот. Все это не литература, а литературная политика, — «Без божества, без вдохновения», как и называлась блоковская статья, написанная за полгода до его и гумилевской гибели.

Тем не менее один ученик у Пастернака был, и гордого этого звания ничем не запятнал. Вероятно, на фоне большинства поэтических экзерсисов, присылавшихся на московский адрес или в Переделкино, стихи московского школьника выглядели не столь вторичными, а может, сыграло свою роль то, что ему было всего четырнадцать лет, хотя он уже любил авангард и тянулся к настоящему, не советскому и не лакированному, а раннему футуризму; а может, Пастернак в сорок седьмом году чувствовал себя особенно одиноко. Как бы то ни было, Андрея Вознесенского он не отверг и разговаривал с ним много, серьезно, искренне. По собственному признанию Вознесенского, он не ставил ему голос, хотя и правил некоторые строчки; зато он научил его главно-

---

му, что умел, — сохранению дара. Дар надо сохранить в эпоху принудительного единомыслия, приспособиваясь к обстоятельствам и демонстрируя лояльность ровно до того предела, пока это не вредит дару; и Вознесенский сумел пойти на минимум компромиссов, добившись максимума свободы, и открыл для российской поэзии множество новых возможностей, и, воздавая судьбе за неслыханную щедрость, — четырнадцать лет дружбы с гением! — вывел в люди замечательную поэтическую плеяду, по первой просьбе и без просьбы помогая всем, в ком видел искру таланта.

Вознесенский впервые услышал стихи Пастернака в десятилетнем возрасте: Это были отрывки из военной поэмы. В четырнадцать лет он отправил Пастернаку свои стихи — и был потрясен, когда тот позвонил в ответ, пригласил его к себе и дал почитать тетрадку собственных новых стихотворений. В основном это были «Стихи из романа».

«Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину? Его тянуло к детству». Так объясняет эту дружбу сам Вознесенский — и, думается, он точен. Пастернак любил подростков, это был его любимый возраст, он знал всю трагичность его и пытался, как мог, помочь им эту трагичность преодолеть. Василий Ливанов вспоминает, что Пастернак был первым



*Борис Пастернак в Переделкине. 1958.  
Фото К. Капа*

человеком, обратившимся к нему, ребенку, на «вы». «Эта общность тайного возраста объединяла нас», — думается, тут Вознесенский не преувеличивает и не льстит себе.

И все-таки следы его влияний у Вознесенского есть, и влияния эти не формальные, а куда более глубокие, в этом их особая значимость. Во-первых, Вознесенский по-

---

пастернаковски любит и приветствует катастрофу, обнажающую суть вещей; Пастернак успел узнать и оценить его «Пожар в Архитектурном» — стихотворение о том, как горит родной институт и в нем — его дипломный проект. Вознесенский собирался порвать с архитектурой сразу после окончания института. Так и получилось. Это стихи очень счастливые — хотя и трагические; тут нет детского злорадного любопытства при виде пожара — есть радость при виде собственной несостоявшейся измены предназначению; но главное — это внезапное ощущение свободы, которое и пастернаковский Дудоров испытывал в оставленном городе, в пьесе «Этот свет».

Все выгорело начисто!  
Милиции полно!  
Все — кончено!  
Все — начато!  
Айда в кино.

Это у него чисто пастернаковское, и никакая школа этому, конечно, не выучит. Тот же радостный трагизм — в поэме «Авось!», самом знаменитом его произведении, ставшем впоследствии рок-оперой.

Второй урок Пастернака, который Вознесенским пристально и истово усвоен, — мысль о предназначении поэзии, продолжающей бытие ушедших, оплакивающей их. В поэзии Вознесенского реквием — один из

---

главных жанров; стихами он провожал всех ушедших, с которыми был знаком, и даже тех, которых не знал лично, о которых слышал, которых любил на расстоянии. Его стремление написать стихи вслед Сахарову, Высоцкому, даже вслед трем погибшим защитникам Белого дома в 1991 году кому-то казалось навязчивым, говорили даже о конъюнктуре, о желании примазаться к чужой славе. Все это в корне неверно: славы ему хватало собственной, на протяжении тридцати лет он входил в пятерку самых известных в стране и мире русских поэтов. Это пастернаковское завещание — продлевать жизнь тех, кто ушел, оплакивать тех, кого замучили; поэзия есть оплакивание. Написал он реквием и Пастернаку:

Зияет дом его.  
Пустые этажи.  
В гостиной — никого.  
В России — ни души.

Он никогда не пользовался пастернаковскими любимыми размерами, сознательно убегал от его мелодики и интонации, рубил строку, вел свой генезис от более правоверных футуристов, интересовался даже и опытом заумников — но содержание его поэзии неизменно оставалось христианским, молитвенным, и это тоже пастернаковское, — хотя восходит, конечно, к истокам его священского рода. Фамилия Вознесен-



---

ский просто так не дается. Литургические интонации — бессознательно, по его собственному признанию, — проникали и в те стихи, в которых он оплакивал не ушедших, а ненаписанное. «Плач по двум нерожденным поэмам» — стихи, с которых начинается настоящий, зрелый Вознесенский. Но интонация его молитв, самая их интимность, близость их к любовной лирике — тоже от Пастернака, от «Магдалины». В русской поэзии вообще редко разделялось религиозное и интимное: в ахматовской лирике обращения к Богу и к возлюбленному подчас неотличимы, и у Пастернака отношения Юры и Лары строятся как отношения Магдалины и Христа. Здесь нет кощунства, хотя в такой лирике всегда велик риск пошлости; ничего нет вульгарнее экстатического религиозного эротизма. Вся трудность в том, чтобы любовь поднять до веры — и у Пастернака это всегда получалось; получалось и у Вознесенского.

Ну что тебе надо еще от меня?  
Чугунна ограда. Калитка темна.  
Я музыка поля, ты музыка сада,  
Ну что тебе надо еще от меня?

Это «Молитва Резанова Богородице» — одна из лучших глав его поэмы. Пастернаковская интонация, невыразимая грусть, бывающая только во сне (эти стихи в самом

---

деле приснились ему), есть и в самом известном его стихотворении «Сага», ставшем впоследствии арией Резанова:

Ты меня на рассвете разбудишь,  
Проводить необутая выйдешь.  
Ты меня никогда не забудешь,  
Ты меня никогда не увидишь.

Не мигают, слезятся от ветра  
Безнадежные карие вишни.  
Возвращаться — плохая примета.  
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на Землю вернемся  
Мы вторично (согласно Гафизу),  
Мы, конечно, с тобой разминемся.  
Я тебя никогда не увижу.

Здесь нет никакого авангардизма, и не может быть, и на таких высотах вообще уже неважно — где авангард, где традиция.

Но если в стихах своих он всячески избегал указаний на чуждые влияния и сознательно выкорчевывал их следы, то в литературном поведении он так же сознательно и целеустремленно следовал пастернаковским примерам и урокам: помогал молодым, поддерживал, когда их давили, печатал, снабжал предисловиями и хвалебными отзывами, отправлял за границу, когда мог. Его рекомендациям переставали верить — настолько щедро и безоглядно он раздавал их любому, в ком замечал малейший признак таланта.

---

Над его покровительством смеялись, но никто не посмеет отрицать, что помощь его часто оказывалась спасительной. В какие бы дебри и дали ни заносило его самого, какими бы экстравагантностями вроде изопов и видеом он ни занимался, — на фоне литературной продукции современников его поэзия была изобретательной, иногда хулиганской, всегда интересной. Пусть он подчас торопился схватить и вставить в стихи любые приметы времени, от Интернета до пирсинга (это уж, конечно, совсем не пастернаковское): интонация обреченной любви прорывалась сквозь все эти наслоения. Мне думается, что Пастернаку понравились бы его поздние стихи.

Я не был героем Чесмы.  
В душе моей суховей.  
Да устыдятся и исчезнут  
Враждующие против души моей.

## ПОЭТ И ОДИНОЧЕСТВО

Сквозь имя «Пастернак» проступают тернии.

Похороны его стали первой демонстрацией народного протеста, далее были прощания с Сахаровым, Шукшиным, Высоцким, Холодовым, Абдуловым... Сегодняшний читатель и представить не может, как это — запретить пойти на похороны поэта, пусть даже «отщепенца». И недавно исключенного

---

из Союза писателей. Власть же считала это главным политическим преступлением года.

Для меня это было личное безысходное горе, я был около Пастернака в течение многих лет, он был мое «все».

2 июня 1960 года меня взялся подвезти до Переделкино Александр Петрович Межиров. Поэт Божьей милостью, синеглазый супермен, бильярдный король, увесивший стены своей берлоги фотографиями боксеров. Его мы называли Саша. Мы знали, что он носит на лацкане чужой значок «Мастер спорта», но гуманно делали вид, что верили его наивным фантазиям. Мама моя не переносила его за разносную статью против меня в «Комсомолке», из-за которой он, по его словам, получил переиздание своей книги. Что тоже, вероятно, было его фантазией. Увы, это балансирование на грани реальности привело его к темной истории, когда он уехал, оставив на снегу случайно сбитого им насмерть актера...

Но именно он привез меня в Переделкино. Третьей в «Москвиче» была Майя Луговская, с которой я познакомился, когда отвозил по просьбе Пастернака экземпляр «Доктора Живаго» от Андроникова к Луговскому. Видя мое состояние, они относились ко мне, как к больному.

Внезапно у «Голубого Дуная», шалмана, где некогда Пастернак распивал с работягами, «Москвич» резко затормозил.

Саша вышел из машины: «Они номера записыва-

---

ют. Дальше Вы идите один. Мы Вас здесь подождем». В его небесно-синих глазах стоял страх: «Я боюсь. Я же член партии...» Это он, боевой офицер, прошедший фронт, не боявшийся Синявинских болот — он испугался?! Что Система делает с человеком! Его губы дрожали. Он бормотал что-то, уже, видно, обращаясь к Майе: «Я не могу... Когда Васья Смирнов и этот... ну как его... вылечившийся сифилитик, дыша перегаром, хрипят с трибуны тебе вопросы...» Вероятно, это были воспоминания о временах борьбы с космополитами.

Я побежал к пастернаковской даче.

Огромная неписательская толпа напирала на низкий штакетник изгороди. Играл Рихтер, потом Юдина. Я прошел в дом. Столовая, в которой стоял гроб, была пуста. Помню, подошла Тагер, что-то сказала.

Потом Грибанов рассказывал Дэзику Самойлову: «Андрюша Вознесенский сидел на крыльце и плакал». Может быть, в песне Галича есть слова о палачах из Союза писателей, исключивших Пастернака из Союза: «Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку». Увы, на общем собрании все единогласно проголосовали за его исключение. (при одной воздержавшейся). Проще взять справочник Союза писателей тех лет — позор на всех. Один поэт, мой приятель, оправдывался: «Я не голосовал, я удалился в туалет». Это повторяли и другие. Я представляю туалет тех дней — бесконечный, как ленинское бревно.

---

И нельзя сваливать все на тупость тоталитаризма. Окололитературное болото, средняя арифметическая серость были совершенно искренни. Они мстили гению. Мы не понимаем поступков гения и примеряем их на свой шкурный аршин.

Нельзя же все сваливать на Хрущева, который, естественно, не понимал поэта и взбесился (у него была масса государственных задач в голове — например, как свалить Жукова или как облапошить советских держателей облигаций).

«Ишь, какой Пастернак нашелся!» — кричал он мне несколько лет спустя. Премьер помнил Пастернака.

Вспомним и мы не только выродков, но и тех, кто пришел поклониться поэту. Поименно: В. Асмус, В. Боков, А. Гладков, Ю. Даниэль, Вяч. Вс. Иванов, В. Каверин, В. Корнилов, Н. Коржавин, И. Нонешвили, Б. Окуджава, К. Паустовский, Г. Поженян, А. Синявский, И. Эренбург... Все они не испугались, все рисковали. Окуджава, может быть, больше других, ведь он был членом партии.

Сейчас удивляет, что не было ни одного письма в защиту Пастернака. Как не было их в защиту Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и, конечно, Осипа Мандельштама.

«Несли не хоронить — несли короновать». Это мое стихотворение, написанное в день похорон, я отнес «на голубом глазу» в редакцию «Литературной России». Верстался номер, посвященный юбилею Толстого. Редактор, поняв или не поняв адреса-

---

та стихов, вставил их на полосу. Единственное, что его озадачило, — строфа:

Вбегаю в дом его.  
Пустые этажи.  
На даче никого.  
В России — ни души.

Но стихи так и вышли, к изумлению читающей публики.

Итальянский издатель Фельтринелли (*тот* самый, что издал «Доктора Живаго») в первой моей переводной книге в Италии, подстраховав меня, поставил подзаголовок «Памяти Толстого».

Позднее Ольга Ивинская в своих мемуарах озаглавила этой строфой главу о похоронах Пастернака.

День похорон продолжался. Продолжается он сорок лет.

Каждый год в июне переделкинские холмы наполняются соловьями и студентами, читающими поэта. Усилиями Наталии Пастернак Большая дача превращена в музей.

...Есть памятники Маяковскому, Есенину, Высоцкому, Мандельштаму, Окуджаве. Но почему забыт крупнейший из поэтов XX века Борис Пастернак? Дай Бог, чтобы в новом столетии родился поэт не меньшего масштаба.

Поэзию вечно хоронят. Сколько живу, все читаю статьи о кризисе поэзии и читателя. Между тем, в магазинах томики стихов раскупаются.

---

Нынче нет на поэзию голода. Но есть аппетит.  
Значит, День Пастернака продолжается.

...Метнулась Ольга, я обнял ее.

Его несли на руках, в открытом гробу, отказавшись от услуг гробовоза, несли от дома, пристанища его жизни, огибая знаменитое поле, любимое им, несли к склону под тремя соснами, в который он сам вглядывался когда-то.

Дорога шла в гору. Был ветер. Летели облака. На фоне этого нестерпимо синего ДНЯ и белых мчавшихся облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже чужой и осунувшийся. ОН чуть подрагивал от неровностей дороги.

Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная иеписательская толпа — приехавшие и местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студентки, героини его стихов. Каменел Асмус. Щелкали фотокамеры. Деревья вышли из оград, пылила горестная земная дорога, по которой ОН столько раз ходил на станцию.

На его дачу я не вернулся. Его там не было. Его больше нигде не было.

### **КРОНЫ И КОРНИ**

Несли не хоронить,  
Несли короновать.

Седее, чем гранит,  
как бронза — красноват,  
дымясь локомотивом,



---

художник жил,  
                                лохмат,  
ему лопаты были  
божественней лампад!

Его сирень томилась...  
Как звездопад,  
                                в поту,  
его спина дымилась  
буханкой на ходу!..

Зияет дом его.  
Пустые этажи.  
На даче никого.  
В России — ни души.

Художники уходят  
без шапок,  
                                будто в храм,  
в гудящие уголья,  
к березам и дубам.

Побеги их — победы.  
Уход их — как восход  
к полянам и планетам  
от ложных позолот.

Леса роняют кроны.  
Но мощно над землей  
ворочаются корни  
корявой пятерней.

1960

---

## ПОЭТ И РОДНИК

Мать моя помнила мою прабабку, дочь Полисадова. Та была смуглая, властная, темноокая, со следами высокогорной красоты.

«Прапрадед твой — Андрей Полисадов, — писала мне мама, — был настоятелем одного из муромских монастырей, какого, не помню. Бабушка говорила, что его еще мальчиком привезли, как грузинского заложника, затем, кажется, он воспитывался в кадетском корпусе, а потом в семинарии. Когда дети Марии Андреевны приехали в Киржач, все говорили: «Грузины приехали...»

Помню, как, шутливо пикируясь с отцом, мать называла его «грузинский деспот».

Приехав в Муром, опрашивая людей, разыскивая ускользящую нить, я чувствовал себя «а-ля Андроников», только речь шла не о ком-то чужом, пусть дорогом — поэте ли, историческом персонаже, — а речь шла о тебе, о твоём прошлом, о судьбе. Было кровное ощущение истории. Мне везло. Оказалось, что собор, в котором служил Полисадов, — ныне действующий.

В ограде я обнаружил чудом уцелевшее не примеченное никем надгробье, с оббитыми краями и обломанным завершением. На камне было имя Полисадова и дата смерти. Странен был цвет этого розоватого лабрадора с вкраплениями — «со слезой». Он всегда меняет цвет. Я приходил к нему утром, в

---

сумерках, в ясные и ненастные дни, лунной ночью — цвет камня всегда был иным. То был аметистовый, то отдавал в гранит, то был просто серым, то хмуро-сиреневым. Это камень-настроение. Или это неуловимый цвет изменчивого времени?

Постепенно все прояснилось. Родился Андрей Полисадов в 1814 году. Списки высланных после Имеретинского восстания, подписанные Ермоловым, хранят имена репрессированных. В 1820 году был доставлен во Владимир и тут же усыновлен.

Имя, которым нарекли мальчика, не было случайным. Святой Андрей считался покровителем Грузии и России. Проповедник Андрей Первозванный, сжимая в руке гвоздь от распятия, достиг Западной Грузии и распространил там христианство.

Древний список «Картлис Цховреба», грузинская жемчужина, повествует, как он «перешел гору железного креста». Далее летописец прибавляет: «Есть сказание, что крест тот воздвигнут самим блаженным Андреем».

О том же мы читаем в древнеславянском шедевре, «Повести временных лет»: «Въшед на горы сия, благослови я, постави крест...» По преданию, проповедник Андрей достиг Киева и Новгорода, распространяя христианство в России. Не случайно синий крест андреевского флага осенял моря Империи.

---

Кстати, в «Повести временных лет» мы впервые встречаем письменное упоминание города Мурома и племени «муром».

Андрей Полисадов был загадочной фигурой российской духовной жизни. Происхождение тяготело над ним. Будто какая-то тайная рука то возвышала его, то повергала в опалу. Он награждается орденами Владимира и Анны. Однако имя его таинственно убирается из печати. Даже в «Провинциальном российском некрополе», составленном великим князем Николаем Михайловичем, имя его, обозначенное в оглавлении, затем необъяснимо исчезает со страниц.

Он был отменно образован. Владимирская семинария, где он воспитывался, была в 30-е годы XIX века отнюдь не бурсой, а скорее церковным лицеем. В те годы редактором владимирской газеты был Герцен. В семинарии серьезно читались курсы философии и истории. Студенты печатали стихи, в том числе и фигурные.

Сохранились стихи Полисадова. Уже будучи в Муроме, он оставил труд о местных речениях и обычаях, за который был отмечен Академией наук. Его поразило сходство славянских слов с грузинскими — «птах» аукался с грузинским «пхта», «тьма» (то есть десять тысяч) отзывалось «тма», «лар» — «ларец»... Суздальская речушка Кза серебряно бежала от грузинского слова «гза», что означает «дорога». Зевая, муромцы крестили рты так же, как это де-

---

лали имеретинские крестьяне. А на второй день пасхи на могилы здесь клали красные яйца — все возвращало к обычаям его края.

Документы свидетельствуют, что шеф жандармов генерал от кавалерии Дубельт лично занимался судьбой Полисадова. Сохранилась обширная переписка братьев.

У Брокгауза и Эфрона можно прочитать, что названный брат Полисадова Иоанн, с которым они были близки, стал известным проповедником в Исаакиевском соборе. Весь Петербург собирался на его проповеди. Двоюродный брат его Василий, богослов, был главой миссионерской церкви в Берлине. Печатал свои труды на французском и немецком. Интересны его работы о Платоне.

В своих литературных трудах Андрей Полисадов описывает «непроходимые муромские леса, изобилующие раскольниками», поле, рощу и «раздольную Оку». Описывает дочь свою Машу, будущую мою прабабку — «сметливую, довольно образованную и очень пригожую».

Встречаясь с низостью, он пером смиряет гнев свой — прямо хоть сейчас печатай! Они не могли простить ему, что он затмевал их своими достоинствами. Тяжело рассказывать все бесчисленные клеветы, кляузы и гонения, тайно и явно воздвигнутые на человека. Человек дрожит над временем, как скупец над золотом, а необходимость защищать собственную честь заставляет писать объяснение на лу-

---

каво и бессовестно выдуманный рапорт или донос. И далее о доносчике: «Бог с ним! Пусть бичует меня. Опомнится авось и сам. Конь бьет и задом и передом, и дело идет своим чередом».

Музыка была его отдохновением. И опять в трехголосном древнеславянском песнопении слышалось ему эхо грузинских древних народных хоров. «И, может быть, — думалось ему, — полифонные «ангелоподобные» хоры донеслись к нам не от греков, чье пенье унисонное, а от грузин, а к тем — от халдов?»

В 80-е годы Полисадов покровительствовал исканиям неутомонного Ивана Лаврова, который избрал особый гармонический звон в колокола, названный им с вызовом «самозвоном», и взял фаната в свою обитель. И не без влияния Полисадова графская семья Уваровых, с которой он был близок, увлеклась изучением археологии Кавказа. По инициативе Уваровой в 90-х годах был реставрирован храм Свети Цховели.

Неукротимый характер Полисадова сказался и в решительной перестройке собора.

Да и местоположение его в Муром было неслучайным. Муром в те времена был духовной меккой страны. При приближении Наполеона знаменитая Иверская икона была перевезена в Муромский собор на Посаде. В память ее пребывания «каждогодне, 10-го сентября» происходил крестный ход от собора вокруг всего города. Иверская стала покро-

---

вительницей Мурома. После возвращения в Москву в городе осталась живописная копия шедевра.

Но откуда взялась сама Иверская? Икона была привезена в 1652 году в Россию из Иверского монастыря, основанного братьями Багратидами — Иоанном и Евсимеем в конце X века. Живопись на ней грузинского письма. Вполне понятно, что грузинский заложник был послан служить грузинской святыне. Ах, эта поэзия архивных списков, темных мест и откровений... И что бы я мог без помощи моих спутников по поискам — владимирского археолога Н.В. Кондаковой и москвича Б.Н. Хлебникова?

У меня хватает юмора понимать, что по простоте четырех поколений грузинская крупица во мне вряд ли значительна. Да и вообще, не очень-то симпатичны мне любители высчитывать процентное содержание крови. Однако история эта привела меня к личности необычной, к человеку во времени. За это я судьбе благодарен.

Мамина родня жила во Владимирской области. К ним я наезжал на каникулы. Бабушка держала корову. Когда доила, приговаривала ласковые слова. Ее сморщенные, как сушеный инжир, щеки лучились лаской. Ее родители еще были крепостными Милославских. «Надо же!» — думалось мне. Из хлева, соединенного с домом, было слышно, как корова вздыхала, перетирала сено, дышала. Так же дышали, казавшиеся живыми, бревенчатые стены и осты-

*Бабушка  
Мария Андреевна.  
Рисунок сделан  
в годы учебы  
в Архитектурном*



вающая печь, в которой томилась крынка теплого молока, запеченного до коричневой корочки. Золу заметали гусиным крылом. Сумерки дышали памятью крестьянского уклада, смешанного со щемлящим запахом провинции. Мне, продукту города, это было уже чужим и непонятно тянуло. О ставни по-кошачьи терлась сирень.

И вот в старинном доме с вековыми резными ставнями, так похожими на бабушкины, муромский краевед Александр Анатольевич Золотарев вдруг извлек из архива Добрынина, хранителем которого он является, рукописи, исписанные рукой Андрея Полисадова. Выцветший почерк его струился слегка



---

женственными изысканными длинными витками; было от чего оцепенеть!

Меня не оставляло ощущение, что в истории все закодировано и предопределено, не только в общих процессах, но в отдельных особях, судьбах. Открывались скрытые от сознания связи. Опять было физическое ощущение себя как капилляра огромного тела, называемого историей. Есть поэтика истории. Есть созвездие совпадений. Например, летом 1977 года, будучи в Якутии, я написал поэму «Вечное мясо», в сюжете которой маячил мамонт, откопанный бульдозеристами тем же летом.

Оказывается, ровно сто лет назад, в июне 1877 года, в Муроме под фундаментом церкви, построенной будущими строителями Василия Блаженного, археолог граф А.С. Уваров раскопал остатки мамонта, о чем тогда же во «Владимирских губернских ведомостях» написал статью Добрынин, в архиве которого я найду рукопись моего предка.

Ныне вновь гудят колокола муромского Свято-Благовещенского монастыря. Почта принесла мне приглашение на панихиду по Архимандриту Алексию (Андрею Полисадову). В его честь совместно с Муромским музеем были организованы чтения.

Письмо было подписано: «Настоятель монастыря игумен Кронид с братией».

История посылала сигналы. Все взаимосвязывалось. И связи эти — не книжный начет, не кабастика, не мистицизм. Имя им — жизнь человечества.

---

## ПРАДЕД

Ели — хмуры.  
Щеки — розовы.  
Мимо  
Мурома  
мчатся розвальни.  
Везут из Грузии!  
(Заложник царский.)  
Юному узнику  
горбиться  
цаплей,  
слушать про грузди,  
про телочку яловую...  
А в Грузии —  
яблони...  
(Яблонек завязь  
гладит меня.  
Чья это зависть  
глядит на меня?!)  
Где-то в России  
в иных переменах,  
очи расширя,  
юный монах  
плачет и цепи нагрудные гладит...  
Это мой прадед.

Это стихотворение даже было обозначено в содержании сборника «Мозаика». Но в последний момент цензура заставила издателей текст «Прадеда» изъять и вклеить в сборник вместо «Прадеда» лист со стихотворением «Кассирша». Парадоксально, что именно за эту замену и поплатилась редактор К. Афанасьева.

---

## ПОЭТ И СЛАВА

Помню, как начинающим поэтом без гроша в кармане я искал заработков. Знакомые мужа моей сестры Г. и Ю. Кагарлицкие устроили мне аудиенцию у Д. Самойлова, крупного мастера и мэтра в мире переводов с языков народов СССР, что было доходным тогда. Не у Пастернака же просить!

Д. С. отнесся заботливо, дал советы, как переводить, и начертал программу моей литературной жизни: «Переводите с одного языка, скажем, с киргизского. Лет через десять вы будете известны как специалист по киргизской поэзии. Потом вас примут в Союз писателей. В литературу входят медленно, десятилетиями».

Заикаясь от смущения и непроходимой наглости, я выпалил: «У меня нет столько времени. Через год я буду самым знаменитым поэтом России».

Мои покровители устроили мне выволочку. Сам Дэзик, давясь от смеха и возмущения, рассказывал байку о нахале литераторам, а потом и мне самому.

В своих воспоминаниях он язвительно написал: «Один Андрей Вознесенский пришел ко мне за два года до славы...»

Как-то, выступая с ним на вечере, я извинился: «Дэзик, ведь я вам обещал. Что же мне оставалось делать?»

...Моя первая книжка «Мозаика» вышла во Владимирском издательстве в 1960 году. Владимирцы считали меня земляком, ибо мое детство прошло у бабушки в Киржаче Владимирской области. Когда я

---

приехал выступать во Владимир, меня нашла редактор Капа Афанасьева и предложила издаться.

Капа была святая.

Стройная, бледная, резкая, она носила суровое полотняное платье. Правое угловатое плечо ее было ниже от портфеля. Она курила «Беломор» и высоко носила русую косу, уложенную вокруг головы венециановским венчиком. Засунутые наспех шпильки и заколки осыпались на рукопись, как сдвоенные длинные сосновые иглы.

Дома у нее было шаром покати. Они с мужем, детьми и бабушками ютились в угловых комнатах деревянного дома. Вечно на диване кто-то спал из приезжих или бездомных писателей. У нее был талант чутья. Она открыла многих владимирских поэтов. Быт не приставал к ней. Она ходила по кухне между спорящими о смысле жизни, не касаясь половиц, будто кто-то невидимый нес ее, подняв за голову, обхватив за виски золотым ухватом ее тесной косы. В ней просвечивала тень тургеневских женщин и Анны Достоевской. На таких, как она, держится русская литература.

Когда вышла «Мозаика», грянул гром. По этой крохотной книжке было специальное разгромное Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Из Москвы позвонили во Владимир с требованием арестовать тираж, но уже все книжки распродали. Капу вызвали в Москву. Сановный хам, министр культуры Попов, собрав совещание, орал на нее.

Обвинения сейчас кажутся смехотворными — например, употребление слов «беременная», «лбы»

---

квалифицировалось как порнография и подрыв основ. Министр шил политику. Капа, тихая Капа преврала его, встала и в испуганной тишине произнесла вдохновенную речь в защиту поэзии. И, не докончив, выскочила из зала. Потом несколько часов у нее была истерика. ее уволили с работы. В тот момент в «Неделе» шли мои набранные стихи. Мне удалось к одному стихотворению поставить посвящение ей. Это подействовало на местные власти. Они сочли, что за Капу вступился сам Аджубей, все- сильный зять Хрущева, редактор «Известий». С перепугу Капу поставили главным инженером типографии, даже повысив оклад.



*Второй сборник молодого поэта «Парабола» вышел следом за «Мозаикой» и сразу стал библиографической редкостью. Выход книги совпал с началом поэтического бума в стране. 30 ноября 1962 года поэзия впервые ворвалась в Лужники. И следом — переполненные стадионы зрителей, легендарный вечер в Политехническом, где Вознесенский читает:*

Прощай, архитектура!  
Пылайте широко,  
коровники в амурах,  
райклубы<sup>1</sup> в рококо!...



---

<sup>1</sup> По требованию цензуры пришлось заменить «райкомы» на «райклубы».

---

## ОДА СПЛЕТНИКАМ

Я славлю скважины замочные.  
Клевещущему — исполать.  
Все репутации подмочены.  
Трещи,  
трехспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!  
Люблю их царственные рты,  
их уши, точно унитазы,  
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно  
в лабораториях ушей,  
что кот на даче у Ошанина  
сожрал соседских голубей,  
что гражданина А. в редиске  
накрыли с балериной Б. ...

Я жил тогда в Новосибирске  
в блистанье сплетен о тебе.

Как пулеметы, телефоны  
меня косили наповал.  
И точно тенор — анемоны,  
я анонимки получал.

Междугородние звонили.  
Их голос, пахнувший ванилью,  
шептал, что ты опять дуришь,  
что твой поклонник толст и рыж,

---

что таешь, таешь льдышкой тонкой  
в пожатые пышущих ручищ...

Я возвращался.  
На Волхонке  
лежали черные ручьи.

И все оказывалось шуткой,  
насквозь придуманной виной,  
и ты запахивала шубку  
и пахла снегом и весной.

Так ложь становится гарантией  
твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..  
Да здравствуют клеветники!

Смакуйте! Дергайтесь от тика!  
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,  
и телефоны не звонят...

1958

### **ПЕРВЫЙ ЛЕД**

Мерзнет девочка в автомате,  
прячет в зябкое пальтецо  
все в слезах и губной помаде  
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.  
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

---

Ей обратно одной, одной  
вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.  
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —  
первый лед от людских обид.

1956

### АНТИМИРЫ

Живет у нас сосед Букашкин,  
в кальсонах цвета промокашки.  
Но, как воздушные шары,  
над ним горят  
Антимиры!

И в них магический, как демон,  
Вселенной правит, возлежит  
Антибукашкин, академик  
и щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину  
виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!  
Фантасты — посреди мур.  
Без глупых не было бы умных,  
оазисов — без Каракумов.



---

Нет женщин — есть антимужчины,  
в лесах ревут антимашины.  
Есть соль земли. Есть сор земли.  
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих.  
На шее одного из них,  
благоуханна и гола,  
сияет антиголова!..

...Я сплю с окошками открытыми,  
а где-то свищет звездопад,  
и небоскребы сталактитами  
на брюхе глобуса висят.

И подо мной вниз головой,  
вонзившись вилкой в шар земной,  
беспечный, милый мотылек,  
живешь ты, мой антимирок!

Зачем среди ночной поры  
встречаются антимирры?

Зачем они вдвоем сидят  
и в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.  
Их первый раз — последний раз!

Сидят, забывши про бонтон,  
ведь будут мучиться потом!

---

И уши красные горят,  
как будто бабочки сидят...

...Знакомый лектор мне вчера  
сказал: «Антимиры? Мура!»

Я сплю, ворочаюсь спросонок,  
наверно, прав научный хмырь.

Мой кот, как радиоприемник,  
зеленым глазом ловит мир.

1961

\* \* \*

Сидишь беременная, бледная.  
Как ты переменялась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платице,  
и плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют  
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы,  
и от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,  
глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,  
хабаровские, люберецкие...

---

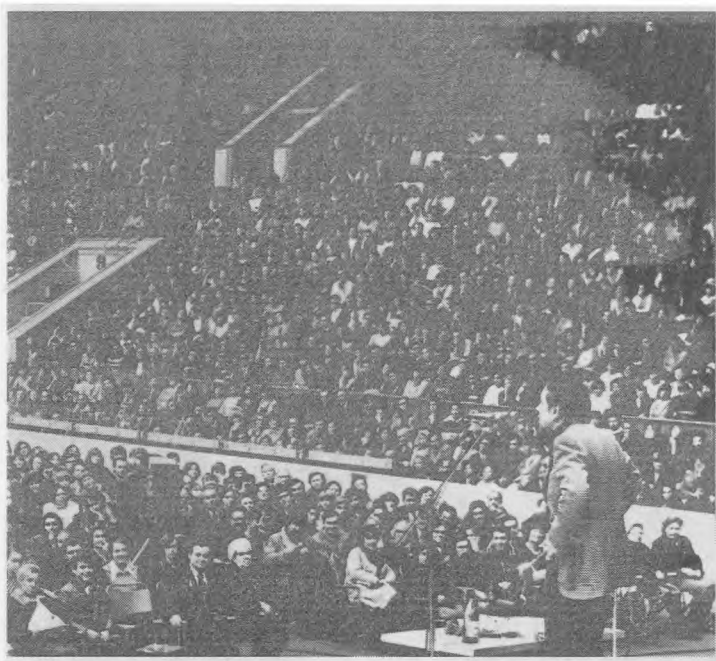
И от Москвы до Ашхабада,  
остолбенеv до немоты,  
стоят, как каменные, бабы,  
Луне подставив животы.  
И, поворачиваясь к свету,  
в ночном быту необжитом —  
как понимает их планета  
своим огромным животом.

1958

## ПОЭТ И ПЛОЩАДЬ

Ах... площадь, как холодит, обжигает губы твой морозный микрофон, как сладко томит колени твой тревожный простор, твоя черная свобода, как шатко ногам на твоём помосте, слова окутаны облачком пара, микрофон запотеvает, и внизу ты, площадь, — тысячеголовая, ждущая, окутанная туманным дыханием, оно плывет над ночными головами сизой пленкой, чувствуется, что не все слова слышны, динамики резонируют, да и не нужны они, слова, — площади нужно Слово.

Страшно стоять над площадью Маяковского. Ветерок пробирает. Мы, несколько поэтов, жмемся на дощатом помосте, специально сколоченном по этому случаю. Евтушенко, худой, по-актерски красивый, в цветастом шарфе, в пальто «в елочку», с коротковатыми рукавами, рубит осенний воздух



ритмическим, митинговым жестом. Голос его, усиленный репродукторами, гремит над многотысячной толпой.

Наблюдателям с пролетавшей неземной тарелочки эта черная переполненная площадь с освещенной фигурой в центре казалась гигантской ритуальной площадкой с извивающимся светоносным фитилем.

Маяковский мечтательно и масштабно пошутил:

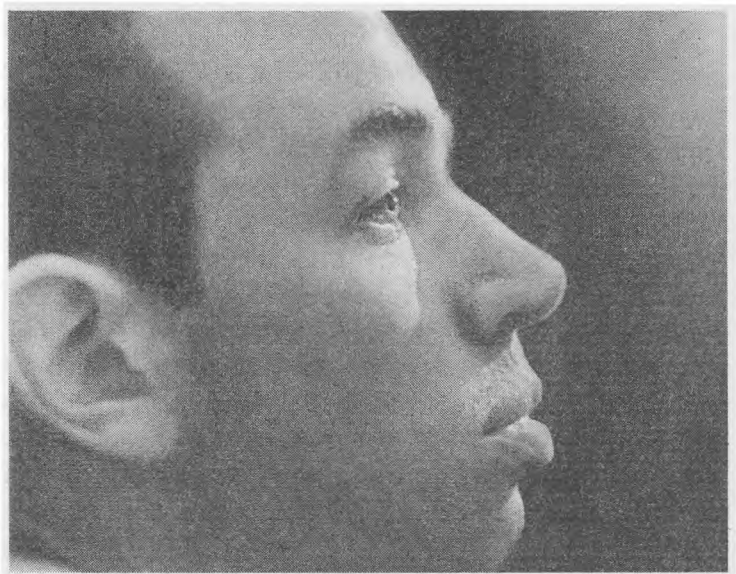
Если б был я  
Вандомская колонна,  
Я б женился на Place de la Concorde.

---

Разные времена и поколения оставили разные категории связи: «Поэт и Муза», «Поэт и царь», «Поэт и слово», «Поэт и родник», «Поэт и деньги», «Поэт и усадьба», «Поэт и одиночество». Впервые стала реальностью категория связи «Поэт и Площадь».

В достоверном фильме «Москва слезам не верит» оператор, пытаясь воспроизвести площадь Маяковского тех лет, почему-то показал жалкую кучку недоуменно жмущихся слушателей. На наших поэтических чтениях площадь была забита до отказа. Равнодушных не было. Позднее ее разливали до краев в чаши Лужников. Машины не могли проехать. Отчаясь сигналить, шоферы и седоки при-





соединялись к толпе, становились толпой поэзии. До сих пор поэтическое слово, хотя и называвшее себя вольным, как ветер, в реальности было комнатным, кабинетным, находилось взаперти, под крышей мансард, дворцов, лекционных залов. Поэты писали и читали о небесах, отгораживаясь от неба крышей. Поэтическое слово реально обрело Площадь. Оно стало размером с площадь, и вот, оббиваясь об угол Зала Чайковского, его относит направо, вдале — к Пушкину.

(Поэты 20-х годов, конечно, адресовались площади. Но лишь сейчас микрофоны и динамики дали возможность всей площади слышать Слово. Да и сам слушатель сейчас иной, чем в 20-х.)

---

30 ноября 1962 года поэзия впервые в истории вышла на стадион Лужников. Это стало датой рождения стадионной поэзии. Помню, как трудно было «взять» не приспособленный для поэзии зал, с неотлаженными микрофонами. Евтушенко не было в тот вечер с нами.

Он был в те дни на Кубе. Но мысленно его я видел тогда на лужниковской сцене.

Евтушенко рожден 60-ми годами, когда русская поэзия вырвалась на площади, залы, стадионы. Захотелось набрать полные легкие и крикнуть. 60-е годы нашли себя в синтезе слова и сцены, поэта и актера. Для них характерна туманная «женственная рифма» с размытыми согласными. Так рифмовали Слуцкий, Межиров, Луконин, Ахмадулина, а еще ранее — Кирсанов, Сельвинский.

Они как бы предчувствовали площадь, где многотысячное эхо размывает окончания строк...

Сегодня фальсификаторы пытаются внушить, что успех былых вечеров поэзии был только политизированным. Отнюдь. В Лужниках всегда просили читать «Ностальгию по настоящему», «Васильки Шагала», «Сагу». Ведь в зале была юная интеллигенция, цвет нации, знавшей наизусть Мандельштама и Цветаеву. Помню, я любил читать, а зрители слушать «Осень в Сигулде», «Озу», сюрреалистические ритмы «Груши», полупшепотом читалось «Тишины!» Мои апологеты даже создали специальную школу «тихой поэзии».

---

## ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!  
По залам, чертежам,  
амнистией по тюрьмам —  
пожар! пожар!

По сонному фасаду  
бесстыже, озорно  
гориллой  
краснозадою  
взвивается окно!

А мы уже дипломники,  
нам защищать пора.  
Трещат в шкафу под пломбами  
мои выговора!

Ватман — как подраненный,  
красный листопад.  
Горят мои подрамники,  
города горят.

Бутылью керосиновой  
взвилось пять лет и зим...  
Кариночка Красильникова,  
ой! Горим!

Прощай, архитектура!  
Пылайте широко,  
коровники в амурах,  
райкомы в рококо!



*Авторский проект  
церкви в Захарово*



*Пасхальная инсталляция храма со встроенным телевизором, из которого поэт читал стихи собравшимся... Впоследствии инсталляцию не разрешили оставить на ул. Неждановой. Ее приютил Дом Кино. Не бережущая, не ухоженная она рассыпается и растаскивается поклонниками...*

---

О юность, феникс, дурочка,  
весь в пламени диплом!  
Ты машешь красной юбочкой  
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!  
Жизнь — смена пепелищ.  
Мы все перегораем.  
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,  
вонзится злей пчелы  
иглочка от циркуля  
из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.  
Милиции полно.

Все — кончено!  
Все — начато!  
Айда в кино!

1957

### **РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ**

Мимо санатория  
реют мотороллеры.  
За рулем влюбленные —  
как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья,  
резкой белизной

---

за ними блещут женщины  
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,  
рвется от руля,  
вонзайтесь в мои плечи,  
белые крыла.

Улечу ли?  
Кану ль?  
Соколом ли?  
Камнем?

Осень. Небеса.  
Красные леса

1962

### **БЬЮТ ЖЕНЩИНУ**

Бьют женщину. Блестит белок.  
В машине темень и жара.  
И бьются ноги в потолок,  
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.  
Она в заплаканной красе  
срывает ручку как рубильник,  
выбрасываясь  
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.  
К ней подбегали, тормоша.

---

И волочили и лупили  
лицом по лугу и крапиве...

Подонки, как он бил подробно,  
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!  
Вонзался в дышащие ребра  
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,  
изыски деревенщины...  
У поворота на Купавну  
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,  
бьют юность, бьет торжественно  
набата свадебного гуд,  
бьют женщину.

А от жаровен сквозь уют  
горящие затрещины?  
Не любят — бьют, и любят — бьют! —  
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,  
отважный и божественный.  
Религий — нет,  
знамений — нет.  
Есть *Женщина!*..

...Она как озеро лежала,  
стояли очи как вода,  
и не ему принадлежала,  
как просека или звезда,

---

и звезды по небу стучали,  
как дождь о черное стекло,  
и, скатываясь,  
                                остужали  
ее горячее чело.

1960

### ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,  
прощайте,  
  
прощай, мое лето,  
пора мне,  
на даче стучат топорами,  
мой дом забивают дощатый,  
прощайте,  
  
леса мои сбросили кроны,  
пусты они и грустны,  
как ящик с аккордеона,  
а музыку — унесли,  
  
мы — люди,  
мы тоже порожни,  
уходим мы,  
                                так уж положено,  
из стен,  
                                матерей  
  и из женщин,  
и этот порядок извечен,  
  
прощай, моя мама,  
у окон

---

ты станешь прозрачно, как кокон,  
наверно, умаялась за день,  
присядем,

друзья и враги, бывайте,  
гуд бай,  
из меня сейчас  
со свистом вы выбегайте,  
и я ухожу из вас,

о родина, попросаемся,  
буду звезда, ветла,  
не плачу, не попрошайка.  
Спасибо, жизнь, что была.

На стрельбищах  
в 10 баллов  
я пробовал выбить 100,  
спасибо, что ошибался,  
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки  
входило прозренье, как  
в резиновую  
перчатку  
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,  
побыть бы не словом, не бульдиком,  
еще на щеке твоей душной —  
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних  
ты встретила, что-то спросила

---

и пса волокла за ошейник,  
а он упирался,  
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,  
что ты мне меня объяснила,  
хозяйка будила нас в восемь,  
а в праздники сипло басила  
пластинка блатного пошиба,  
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,  
как поезд отходит, уходишь...  
из пор моих полых уходишь,  
мы врозь друг из друга уходим,  
чем нам этот дом неуютен?

Ты рядом и где-то далеко,  
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся  
в друзьях и подругах, в травинках,  
нас этот заменит и тот —  
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,  
на смену придут миллионы,  
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,  
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961

---

## БЬЕТ ЖЕНЩИНА

В чьем ресторане, в чьей стране — не  
вспомнишь,  
но в полночь  
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,  
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,  
где взгляды липнут, словно листья банные?  
За что — неважно. Значит, им положено —  
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!  
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.  
Бей, женщина!  
Массируй им мордасы!  
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,  
что на земле давно матриархат, —  
отбить,  
обуть,  
быть умной,  
хохотать,  
такая мука — непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.  
Мужчины, рыцари,  
куда ж девались вы?!



---

Так хочется к кому-то прислониться —  
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.  
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.  
Пол-литра купишь.  
Как он скучен, хрыч!  
Намучишься, пока расшевелишь.  
Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!

А можно ли  
в капронах  
ждать в морозы?  
Самой восьмого покупать мимозы —  
можно?!

Виновные, валитесь на колени,  
колонны, люди, лунные аллеи,  
вы без нее давно бы околели!  
Смотрите,  
из-под грязного стола —  
она, шатаясь, к зеркалу пошла.  
«Ах, зеркало, прохладное стекло,  
шепчу в тебя бессвязными словами,  
сама к себе губами прислоняюсь  
и по тебе сползаю тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил —  
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

1964

---

НЕИЗВЕСТНЫЙ — РЕКВИЕМ  
В ДВУХ ШАГАХ С ЭПИЛОГОМ

Лейтенант Неизвестный Эрнст.  
На тысячи верст кругом  
равнину утюжит смерть  
огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,  
но сверху в радиосеть:  
«В атаку — зовут — твою мать!»  
И Эрнст отвечает: «Есть».

Но взводик твой землю ест.  
Он доблестно недвижим.  
Лейтенант Неизвестный Эрнст  
идет  
наступать  
один!

И смерть говорит: «Прочь!  
Ты же один, как перст.  
Против кого ты прешь?  
Против громады, Эрнст!

Против —  
четыремиллионнопятьсотсорокасеми-  
тысячвосемьсотдвадцатитрехквдратнокило-  
метрового чудища против, —  
против армии, флота, и угарного сброда, против —  
культургервышибал, против национал-  
социализма,—  
против!

---

Против глобальных зверств.  
Ты уже мертв, сопляк?..»  
«Еще бы», — решает Эрнст  
И делает

*первый шаг!*

И Жизнь говорит: «Эрик,  
живые нужны живым.  
Качнется сирень по скверам  
уж не тебе — им,  
*не будет* —

*1945, 1949, 1956, 1963 — не будет,  
и только формула убитого человечества станет —  
3 823 568 004 + 1,*

*и ты не поступишь в Университет  
и не перейдешь на скульптурный,  
и никогда не поймешь, что горячий гипс пахнет  
как парное молоко,  
не будет мастерской на Сретенке, которая*

*запирается*

*на проволочку,  
не будет выставки в Манеже,  
и 14 апреля 1964 года не забежит Динка*

*и не положит на  
гипсовую модель мизинца с облупившимся маникюром,  
и она не вырвется, не убежит  
и не прибежит назавтра утром, и опять не убежит  
и совсем не прибежит,  
не будет ни Динки, ни Космонавта (вернее, будут, но не  
для тебя, а для белесого Митьки Филина, который не  
вылез тогда из окопа),*

---

*а для тебя никогда, ничего —*

*не!*

*не!*

*не!..*

Лишь мама сползет у двери  
с конвертом, в котором смерть,  
ты понимаешь, Эрик?!»  
«Еще бы», — думает Эрнст.

Но выше Жизни и Смерти,  
пронзающее, как свет,  
нас требует что-то третье, —  
чем выделен человек.

Животные жизнь берут.  
Лишь люди жизнь отдают.

Тревожаще и прожекторно,  
в отличие от зверей, —  
способность к самопожертвованию  
единственна у людей.

Единственная Россия,  
единственная моя,  
единственное спасибо,  
что ты избрала меня.

Лейтенант Неизвестный Эрнст,  
когда окружен бабьем,  
как ихтиозавр нетрезв,  
ты спишь за моим столом,

---

когда пижоны и паиньки  
пищат, что ты слаб в гильбе,  
я чувствую, как памятник  
ворочается в тебе.

Я голову обнажу  
и вежливо им скажу:

«Конечно, вы свежесбриты  
и вкус вам не изменял.  
Но были ли вы убиты  
за родину наповал?»

1964



*В конце Великой Отечественной войны Эрнст  
Неизвестный был тяжело ранен в Австрии, при-  
знан погибшим и за проявленный героизм «по-  
смертно» награжден орденом Красной Звезды.*



*Белла Ахмадулина*

## **ОБ АНДРЕЕ ВОЗНЕСЕНСКОМ**

...Его яркое появление и на сцене, и в воображении людей означало некоторую перемену времени. Такого еще не было. Когда его смелая яркость появилась и в Политехническом музее,





---

и на сцене Лужников — это значило больше, чем появление нового имени. Я думаю, что в нем есть нечто, нечто, может быть, таинственное, чем он может влиять на поведение умов, на положение молодых поэтов. В нем нет того, что скучно. В нем нет заурядности. Его первые книги, его первые выступления — они что-то меняли в состоянии умов, душ. Это как-то обнадеживало. Это противостояло той тупости, той скудости и той скучности, которые владели многими. И вот теперь прошло так много лет, я не скрываю, что я улыбаюсь, потому что если бы участвовал в нашем разговоре Марлен Хуциев, то он бы сказал: «А сколько нам лет». Я имею в виду фильм Хуциева «Мне двадцать лет», в котором много достоверного о том времени. Теперь нам не двадцать лет, но все-таки, когда человек умеет сохранить свою странность, свой способ писать, свой способ думать, — это влияет. Ведь не только время влияет на поэта, но и он может влиять на него.

Мы приблизительные ровесники, но он появился позже. И заблистал. Он показал, что можно писать иначе, можно думать иначе, можно соотноситься с публикой иначе.

Мы всегда были очень дружны. Я писала стихи, ему посвященные. Я и сейчас пишу. И я рада, что к этим стихам может быть эпиграф из поэта, из великого поэта — Пастернака, который с Вознесенским соотнесен. Я рада повторить слова Пастернака: «Я не рожден, чтоб три раза смотреть по-разному в глаза». Все-таки это важно...



---

АНДРЕЮ ВОЗНЕСЕНСКОМУ

Ремесло наши души свело,  
заклеймило звездой голубою.  
Я любила значенье свое  
лишь в связи и в соседстве с тобою.

Несказанно была хороша  
только тем, что в первейшем сиротстве  
бескорыстно умела душа  
хлопотать о твоём превосходстве.

Про чело говорила твое:  
— Я видала сама, как дымилось  
меж бровей золотое тавро,  
чьё значенье — всевышняя милость.

А про лоб, что взошел надо мной,  
говорила: не будет он лучшим!  
Не долеплен до пяди седьмой  
и до пряди седой не доучен.

Но в одном я тебя превзойду,  
пересилю и перелукавлю!  
В час расплаты за божью звезду  
я спрошу себе первую кару.

Осмелею и выпячу лоб,  
похваляясь: мой дар — безусловен,  
а второй — он не то, чтобы плох,  
он — меньшей, он ни в чем не виновен.

Так положено мне по уму.  
Так исполнено будет судьбою.  
Только вот что. Когда я умру,  
страшно думать, что будет с тобою.

1965

---

## ПОЭТ И ЦАРЬ

Почему поэты умирают?

Почему началась первая мировая война? Эрцгерцога хлопнули? А не шлепнули бы? А проспал бы? Не началась бы? Увы, случайностей нет, есть процессы Времени и Истории.

«Гений умирает вовремя», — сказал его учитель Скрыбин, погибший, потому что прыщик на губе сковырнул. Про Пастернака будто бы Сталин сказал: «Не трогайте этого юродивого».

Может быть, дело в биологии духа, которая у Пастернака совпала со Временем и была тому необходима?..

В те дни — а вы их видели  
И помните, в какие,  
Я был из ряда выделен  
Волной самой стихии.

Пастернак встретился с Мандельштамом у гроба Ленина.

Мое юношеское восприятие Ленина копировало отношение к нему Пастернака. Поэзия выражает иллюзии народа. Мы знаем исторического садиста, в животном восторге, самолично, рубившего головы стрельцам, но верим мы пушкинскому образу.

Про Сталина он как-то сказал: «Я не раз обращался к нему, и он всегда выполнял мои просьбы». Вероятно, речь шла о репрессированных. Однажды за столом он пересказал телефонный диалог о Ман-

---

дельштаме, про который злорадно судило околотературное болото. Сталин позвонил ему поздно ночью. Разговаривать пришлось из коммунального коридора. Трубка спросила: «Как вы расцениваете Мандельштама как поэта?» Пастернак был искренен. Он ответил положительно, хоть и не восторженно. Трубка сказала: «Если бы моего товарища арестовали, я стал бы его защищать». «Но его же арестовали не за качество стихов», — начал поэт... В Кремле повесили трубку, Пастернак пытался соединиться — тщетно. Наутро он бросился к Бухарину, который был тогда редактором «Известий», хлопотать за Мандельштама. Сталина он называл «гигантом дохристианской эры», то есть ассирийским рябым деспотом.

Сталин лежал в Колонном зале.

Центр был оцеплен грузовиками и солдатами. Нам, студентам Архитектурного, выдали пропуска до Рождественки, где находился институт. Я присоединился к группе ребят, и мы по крышам, через Кузнецкий мост, пробирались к Колонному. Из репродукторов доносились траурные и кавалерийские марши, стихи Твардовского и Симонова, живые речи вождей. Внизу колыхались заплаканные толпы, рыдала осиротевшая империя. Наши лица и руки были красными, словно ошпаренные кипятком. На Пушкинской мы прыгали в толпу, и она сжимала нас, не дав разбиться. Пуговицы моего пальто были оборваны, шапку я потерял.

---

Внутри Колонного зала меня поразило обилие знамен, венков, мундиров. Среди них совсем незаметно лежало сухонькое тело. Топорща усы, он лежал на спинке, подобно жуку, скрестившему лапки на груди. Есть такая порода жуков — «притворяшка-вор», который прикидывается умершим, а потом — как прыгнет!

Я отогнал от себя это кощунственное сравнение, Потом, пытаясь хоть что-то понять, я напишу:

Друг, не пой мне песню про Сталина.  
Эта песенка не простая.  
Не проста усов седина.  
То хрустальна, а то мутна.  
Как плотина блистали.  
Как присяга иным векам.  
Партизаночка шла босая  
К их сиянию по снегам.  
Кто в них верил? И кто в них сгинул,  
Как иголка в седой копне.  
Их разглаживали при Гимне.  
Их мочили в красном вине.  
И торжественно над страной,  
Словно птица хищной красы,  
Плыли с красною бахромою  
Государственные усы...  
Друг, не пой мне песню про Сталина...  
Ты у гроба его не простаивал,  
Провожая, аж губы в кровь!  
Роковую свою любовь.



*Кажется, первым крупным поэтом в советской литературе, написавшим стихи о «хорошем» Сталине, был именно Пастернак. Два стихотворения были опубликованы 1 января 1936 года в газете «Известия». Вот так заканчивалось одно из них:*

А в те же дни на расстоянье  
За древней каменной стеной  
Живет не человек, — деянье:  
Поступок ростом с шар земной.

Судьба дала ему уделом  
Предшествующего пробел.  
Он — то, что снилось самым смелым,  
Но до него никто не смел.

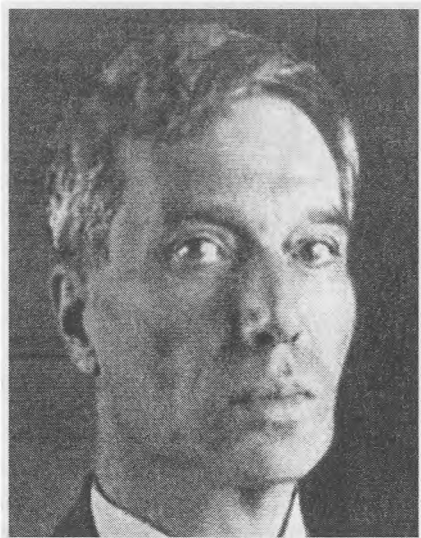
За этим баснословным делом  
Уклад вещей остался цел.  
Он не взвился небесным телом,  
Не исказился, не истлел..

В собранье сказок и реликвий,  
Кремлем плывущих над Москвой,  
Столетия так к нему привыкли,  
Как к бою башни часовой.

Но он остался человеком  
И если, зайцу вперерез  
Пальнет зимой по лесосекам,  
Ему, как всем, ответит лес.

*Если бы Пастернак, как считалось, относился к Сталину с почтением (не говоря уж о любви), то он не смог бы написать о Вожде*

*Борис Пастернак*



*так неталантливо. Значит, по-другому не получилось. Рабский труд, как известно, не производится. То же происходит и с Ахматовой. В 1939 году из ее сердца вырывается истинная боль:*

Семнадцать месяцев кричу,  
Зову тебя домой,  
Кидалась в ноги палачу,  
Ты сын и ужас мой.  
Все перепуталось навек,  
И мне не разобрать  
Теперь, кто зверь, кто человек,  
И долго ль казни ждать.  
И только пыльные цветы,  
И звон кадильный, и следы  
Куда-то в никуда.

---

И прямо мне в глаза глядит  
И скорой гибелью грозит  
Огромная звезда.

*А через десять лет в журнале «Огонек» публикуются совсем другие стихи Ахматовой о Сталине. И если бы не ее подпись под ними, трудно поверить, что рука ПОЭТА способна от страха так забыть свой почерк! Или она попросила кого-то написать за себя? Анна Андреевна писала эти стихи, опасаясь за жизнь единственного сына, освобожденного лишь в 1958 году.*

Пусть миру этот день запомнится навеки,  
Пусть будет вечности завещан этот час.  
Легенда говорит о мудром человеке,  
Что каждого из нас от страшной смерти спас.  
Ликует вся страна в лучах зари янтарной,  
И радости чистейшей нет преград, —  
И древний Самарканд, и Мурманск заполярный,  
И дважды Сталиным спасенный Ленинград.  
В день новолетия учителя и друга  
Песнь светлой благодарности поют —  
Пускай вокруг неистовствует вьюга  
Или фиалки горные цветут.  
И вторят городам Советского Союза  
Всех дружеских республик города  
И труженики те, которых душат узы,  
Но чья свободна речь и чья душа горда.  
И вольно думы их летят к столице славы,  
К высокому Кремлю — борцу за вечный свет,  
Откуда в полночь гимн несется величавый  
И на весь мир звучит, как помощь и привет.

Анна Ахматова



*Не думаю, что стихи Пастернака или Ахматовой пронзили душу вождя своей мощью и искренностью. В них, сквозь вымученную лезть, отчетливо проступал страх. И Сталин, сам писавший стихи, не мог этого не услышать. А что касается их художественной ценности, то совершенно очевидно: чтобы написать такие стихи, вовсе не обязательно быть Ахматовой или Пастернаком. Для этого в стране было достаточно плохих поэтов.*

*Известно, что Осип Мандельштам подписал свой смертный приговор еще в конце 1933 года, написав страшные стихи о Сталине.*

\* \* \*

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны,  
А где хватит на полразговорца,  
Там припомнят кремлевского горца.





*Осип Мандельштам*

Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
А слова, как пудовые гири, верны,  
Тараканьи смеются усища,  
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,  
Он играет услугами полулюдей.  
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,  
Он один лишь бабачит и тычет,  
Как подкову, кует за указом указ:  
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина  
И широкая грудь осетина.

*И хотя вождь приказал поначалу: «Изолировать, но сохранить» поэта, но потом все-таки передумал. Не зря же он так настойчиво спрашивал про Мандельштама у Пастернака: «Но ведь он же мастер? Мастер?» Ведь если мастер, значит, может быть полезен. Значит,*

---

*сможет в благодарность столь же талантливо возвеличить, как сумел возненавидеть. Тогда Сталин сохранил поэту жизнь, сделав ставку на его мастерство.*

*Мандельштам понял намерения Сталина. Доведенный до отчаяния, загнанный в угол, он решил написать ожидаемую от него «Оду Сталину».*

*И вот что получил Сталин в начале 1937 года:*

Глазами Сталина раздвинута гора  
и вдаль прищурилась равнина,  
как море без морщин, как завтра из вчера —  
до солнца борозды от плуга-исполина.  
Он улыбается улыбкою жнеца  
рукопожатий в разговоре,  
который начался и длится без конца  
на шестиклятвенном просторе.  
И каждое гумно, и каждая копна  
сильна, убориста, умна — добро живое —  
чудо народное! Да будет жизнь крупна!  
Ворочается счастье стержневое.

И шестикратно я в сознании берегу —  
свидетель медленный труда, борьбы и жатвы —  
его огромный путь — через тайгу  
и ленинский октябрь — до выполненной клятвы.  
Уходят вдаль людских голов бугры:  
я уменьшаюсь там. Меня уж не заметят.  
Но в книгах ласковых и в играх детворы  
воскресну я сказать, как солнце светит.  
Правдивей правды нет, чем искренность бойца.  
Для чести и любви, для воздуха и стали  
есть имя славное для сжатых губ чтеца.  
Его мы слышали, и мы его застали.

*Январь-февраль 1937*

---

*Да, Мандельштам написал стихи о великом вожде. Кушайте на здоровье... Словом, план Сталина потерпел полный крах. Чтобы написать такие стихи, не надо было быть Мандельштамом. И Сталин, я полагаю, это понимал. Возможно, Иосиф Бродский был прав, считая, что Сталин убил Мандельштама именно за эти стихи.*

*Зачем я коснулась этой темы? А затем, чтобы рассказать о скандале 1963 года в Кремле и дать отрывок из поэмы про Ленина «Лонжюмо», написанной вскоре после «царской охоты» на молодого Вознесенского.*

Ленин прост — как материя,  
как материя — сложен.  
Наш народ — не тетеря,  
чтоб кормить его с ложечки!

Не какие-то «винтики»,  
а мыслители,  
он любил ваши митинги,  
Глебы, Вани и Митьки.

Заряжая ораторски  
философией вас,  
сам,  
как аккумулятор,  
заряжался от масс.

Вызревавшие мысли  
превращались потом  
в «Философские письма»,  
в 18-й том.

---

Его скульптор лепил. Вернее,  
умолял попозировать он,  
перед этим, сваяв Верлена,  
их похожестью потрясен,  
бормотал он оцепенело:  
«Символическая черта!  
У поэтов и революционеров  
одинаковые черепа!»  
Поэтично кроить вселенную!  
И за то, что он был поэт,  
как когда-то в Пушкина — в Ленина  
бил отравленный пистолет!

7

Однажды, став зрелей, из спешной  
повседневности

мы входим в Мавзолей, как в кабинет  
рентгеновский,  
вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,  
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:  
«Скажите, Ленин, мы — каких Вы ждали, Ленин?!

Скажите, Ленин, где победы и пробелы?  
Скажите — в суете мы суть не проглядели?..»

Нам часто тяжело. Но солнечно и страстно  
прозрачное чело горит лампообразно.

«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»  
И Ленин отвечает.

На все вопросы отвечает  
Ленин.



---

Земля! зеленая планета!  
Ничтожный шар в семье планет!  
Твое величье — имя это,  
Меж слав твоих — прекрасней нет!

*Так что же побудило молодого Вознесенского написать «Лонжюмо»? Может быть, была еще свежа рана от травли любимого Учителя, травли, ускорившей его уход из жизни? Но Пастернак уже успел написать своего «Живаго», а Андрею было тогда всего лишь под тридцать. А возможно, он, как и вся страна, искренне верил, что Сталин подло искажил идеи великого Ленина? Думаю, да. Но не исключая, что он об этом вообще не думал.*

*Если детство Вознесенского воспитали «двор и Пастернак», то воспитать свое отношение к себе, к власти и к людям Андрею Андреевичу помогли Пастернак, Хрущев и Зоя Богуславская...*

*Каждый читатель поэзии знает о телефонном разговоре Пастернака со Сталиным о Мандельштаме, знает о выступлении Слуцкого не в защиту «Доктора Живаго» (это выступление до конца жизни мучило и медленно убивало Слуцкого). Все знают о разгроме выставки в Манеже 1 декабря 1962 года. («Вам нравится Запад? Пожалуйста! Это педерастия в искусстве... так почему педерасам — 10 лет, а этим орден должен быть?») Точно так же все знают об угрозе Хрущева выслать Вознесенского из страны (на знаменитой встрече с интеллигенцией), в начале 1963 года, когда Хрущев начал подмораживать «оттепель».*



Черный ящик моей памяти захрипел, разразился непотребной бранью, заплелся. Из него выскочил целлулоидный болванчик. Замахал кулачками.

Ах, если бы все это осталось виртуальной реальностью...

Но Кремлевский голубой Свердловский купольный зал зашуршал, заполняясь парадными костюмами и скрипящими нейлоновыми сорочками, входящими тогда в обиход. Это в основном были чины с настороженными вкраплениями творческой интеллигенции. Было человек шестьсот. Шло 7 марта.

Трибуна для выступающих стояла спиной к столу президиума, почти впритык и чуть ниже этого стола, за которым возвышались Хрущев, Брежнев, Сулов, Косыгин, Подгорный, Козлов (тогдашний фаворит, каратель Новочеркасска), Полянский, Ильичев... Их десятиметровые портреты украшали улицы по праздникам. Их несли над колоннами.

Я впервые был в Кремле. Как родители радовались — меня в Кремль позвали! На двух предыдущих встречах с Хрущевым я не присутствовал — мы с В. Некрасовым и К. Паустовским были по приглашению во Франции, я там еще задержался на последнее выступление. Все было впервые тогда: стотысячные заявки читателей на поэтические сборники, рождение журнала «Юность», съемки необычного вешнего хуциевского фильма, первый вечер русского поэта в парижском театре и накануне первый в истории вечер поэзии в Лужниках, — все было

---

впервые после сталинских казарм. Мы связывали это с Хрущевым. Ростки гласности бесили аппарат. Уже по официозной прессе тех дней было понятно, кого будут прорабатывать на кремлевской встрече, — в «Известиях», которую редактировал яркий и всесильный зять Хрущева, появилась статья «Турист с тросточкой», с которой началась травля В. Некрасова, вытолкнувшая его затем в эмиграцию, и подвал Ермилова против Эренбурга.

В той же газете появилось открытое письмо главного редактора, обличающее мои стихи в «Юности». Думаю, что игрок Аджубей просто не мог поступить иначе.

К постоянной ругани в прессе мы привыкли. Я считал, что Хрущева обманывают и что ему можно все объяснить. Он оставался нашей надеждой. В первый вечер заседания Хрущев был хмур, раздраженно перебивал седого режиссера М.И. Ромма, однако обаяние Чухрая смягчило его, и он не стал разгонять Союз кинематографистов, как это уже было предрешиено. В первый день нападали на Эренбурга, и все чаще, как по сценарию, стали упоминаться имена мое и Аксенова. Ванда Василевская заявила, что в Польше не могут построить социализм из-за того, что мы с Васей своими выступлениями мешаем строительству социализма в Польше.

Запомнился писатель, стоявший на трибуне вполоборота, обращавшийся больше к сидящему сзади Хрущеву, отводя спину вбок, как собака вежливо отводит зад и оглядывается, когда бежит впе-



---

реди хозяина. Особенно усердствовал против меня А. Малышко, под гогот предложивший мне самому околачивать свои треугольные груши, согласно соленой присказке. А. Прокофьев обличал мою непартийность: «Я не могу понять Вознесенского и поэтому протестую. Такой безыдейности наша литература не терпела и терпеть не может!» Эти вопли заводили Хрущева. Тот делал вид, что дремлет.

Чем Хрущев отличался от Сталина? Не политически, а эстетически.

Сталин был сакральным шоумейкером эры печати и радио. Он не являлся публике. Хрущев же был шоуменом эпохи ТВ, визуальной эры. Один башмак в ООН чего стоит! Не ведая сам, он был учеником сюрреалистов, их хэппенингов.

Хрущев восхищает меня как стилист.

И когда глава Державы сделал вид, что вдруг проснулся и странным высоким толстяковским голосом потребовал меня на трибуну, я бодро взял микрофон. Повторяю, он был еще нашей надеждой тогда, и я шел рассказать ему как на духу о положении в литературе, надеясь, что он все поймет.

Но едва я, волнуясь, начал выступление, как меня сзади из президиума кто-то стал перебивать. Я не обернулся и продолжал говорить. За спиной раздался микрофонный рев: «Господин Вознесенский!» Я попросил не прерывать. «Дайте мне договорить!» — бубнил я. «Господин Вознесенский, — взревело, — вон из нашей страны, вон!»

Вот как описывал со стороны нашу беседу Михаил Ромм:

---

«Два выступления были ключевых... Одно — донос в очень благородной форме о том, что Вознесенский давал интервью в Польше... и в этом интервью был задан вопрос, как он относится к старшему поколению и т.д., как с поколениями в литературе. И он-де ответил, что не делит литературу по горизонтали, на поколения, а делит ее по вертикали, для него Пушкин, Лермонтов и Маяковский — современники и относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову и Маяковскому, к этим именам он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. И из-за этого разгорелся грандиозный скандал...

Во время очередной какой-то перепалки, пока Вознесенский что-то пытался ответить, Хрущев вдруг прервал его и, обращаясь в зал, в самый задний ряд, закричал:

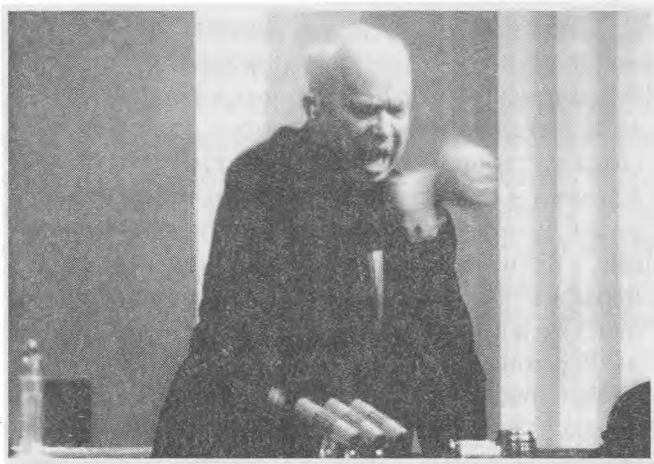
— А вы что скалите зубы? Вы, очкарик, вон там, в последнем ряду, в красной рубашке!..

Вознесенский читает, но не до чтения ему: позади сидит Хрущев, кулаками по столу движет...

Прочитал он поэму, Хрущев махнул рукой:

— Ничего не годится, не годится никуда. Не умеете вы и не знаете ничего!.. Вы это себе на носу зарубите: вы — ничто.

Вознесенский молчит. Что уж он там пробормотал, не знаю, не помню... Тут от этого крика хрущевского на Вознесенского всю эту толпу интеллигентов охватило какое-то странное, жестокое возбуждение. Это явление Толстой здорово описал в «Войне и мире», когда Ростопчин



*Н. С. Хрущев*

призывал убить купеческого сына и как толпа вся, друг друга заражая жестокостью, сначала не решалась, а потом стала убивать».

Действительно, поводом для скандала была процитированная В. Василевской моя фраза: «Гениального Пастернака я считаю современником Лермонтова».

Услышав поток брани за спиной — «Господин Вознесенский, вон из страны!» — я не понял, кто это заорал. Не Хрущев же! Повторяю, я, как и все мои друзья, тогда еще идеализировал Хрущева. Когда же зал, главным образом номенклатурный, с вкраплениями интеллигенции, заплодировал этому реву, заскандировал: «Позор! Вон из страны!» (по отношению ко мне, конечно), — я счел зал своим

---

главным врагом и надеялся побороть его по стадионной привычке. Не тут-то было! Я продолжал бубнить по тексту. И вдруг, оглянувшись, увидел невменяемого, вопящего Премьера. В голове пронеслось: «Да опомнитесь же! Неужели этот припадочный правит страной?! Он же ничего не сечет». Я обернулся к залу, ища понимания. В лицо орали перекошенные. Осталась последняя надежда — вдруг стихи смогут образумить это ревущее стадо. Но Кремль — не Лужники. Ишь, принц нашелся...

Вот опять «взгляд со стороны», запись по стенограмме из архива ЦК КПСС, конечно приглаженной, отредактированной от ненормативной лексики:

Н. С. ХРУЩЕВ: Почему вы афишируете, что вы не член партии?! «Я не член партии» — вызов дает! Сотрем всех на пути, кто стоит против Коммунистической партии, сотрем!

Вы скажете, что я зажимаю. Я — Секретарь, Председатель. Прежде всего я — гражданин Советского Союза, я боец и буду бороться против всякой нечисти. Мы создали свободные условия не для пропаганды антисоветчины. Мы никогда не дадим врагам воли, никогда! Ишь ты, какой — «я не член партии!» Он нам хочет какую-то партию беспартийных создать. Нет, вы член партии, только не той партии... Товарищи, идет борьба, борьба историческая, здесь либерализму нет места, господин Вознесенский!.. То, что Ванда Львовна сказала, — это вы сказали. Это клевета на партию! Для таких будут *жесткие морозы*... Мы не те, которые были в клубе

---

Петефи, а мы те, которые помогли венграм разгромить эту банду... Ваши дела говорят об антипартийщине, антисоветщине. Вы говорите ложь!..

В: Нет, не ложь!

Х.: Молоко еще не обсохло. Ишь какой. Он поучать будет. Обожди еще!

Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите, завтра получите паспорт, уезжайте к чертовой бабушке, поезжайте туда, к своим.

В.: Я русский поэт. Зачем мне уезжать?

Х.: Ишь ты, какие! Думаете, что Сталин умер... Мы хотим знать, кто с нами, кто против нас. Никакой оттепели: или лето, или мороз... Партия не дает вам право на молодежь и всегда будет бороться, чтобы она, партия, представляла старое и молодое поколение. И больше никто. Только одно сейчас — ваша скромность, скромность, если вы не перестанете думать, что родились гением.

В.: Я так не думаю.

Х.: Вы думаете. Вам вскружил голову талант, ну как же, родился принц, все леса шумят. Вы считаете, как только родились, то сразу руку подняли, хотите указать путь человечеству. Не хотите с нами в ногу идти, получайте паспорт и уходите. В тюрьму мы вас сажать не будем, но если вам нравится Запад — граница открыта. Вы по своим стреляете...

«За что?! Или он рехнулся? Может, пьян?» — пронеслось в голове. (Такое с ним случилось однажды, когда он, сняв туфлю, стучал ею в ООН.) Только привычка ко всякому во время выступлений, видно,

---

удержала меня в рассудке. Из зала, теперь уже из-за моей спины, нарастал мощный скандеж: «Долой! Позор!» Из первого ряда подскочило брезгливо-красивое лицо: «В Кремль! Без белой рубашки, без галстука?! Битник!» Позже я узнал, что это был Шелепин, тогда Председатель КГБ. Мало кто из присутствующих знал слово «битник», но сразу подхватили: «Битник! Позор!»

В ополоумевшей от крика массе зала мелькнуло обескураженное лицо Олега Ефремова, взметенные бровки Юрия Завадского. Помню бледные скулы Андрея Тарковского и Эрнста Неизвестного. Они были подавлены.

Метнувшись взглядом по президиуму, я столкнулся с пустым ледяным взором Флора Козлова. И он, и все остальные члены президиума глядели как бы сквозь меня. Как остановить этот кошмар? Все-таки я прорвался через всеобщий ор и сказал, что прочитаю стихи.

Тут я задел рукавом стакан, он покатился по трибуне. Я его поднял и держал в руках. Запомнились грани с узором крестиками кремлевского хрустального стаканчика. Запомнилось, как Козлов внимательно и настороженно взглянул на мою руку со стаканом.

«Никаких стихов! Знаем! Долой!» — упоенно вопили вокруг.

И тут в перекошенном лице Главы я увидел некую пробивающуюся мысль, догадку, будто его задело что-то, пробудило сознание, что-то стало раздражать — или это мне померещилось? — будто бы он

---

увидел в ревушей торжествующей толпе свою будущую гибель, почуял стихийную силу взбесившейся неподконтрольной номенклатуры. Через год она свернет ему шею. Набычась, он обиженно протянул: «Нет, пусть прочитает». Когда я дошел до строк:

Какая пепельная стужа  
сковала б Родину мою?  
Моя замученная Муза,  
что пела б в лагерном краю? —

я понял, что я погиб.

Но читая, я, как обычно, отбивал ритм поднятой рукой:

...когда по траурным трибунам  
самодержавно и чугунно,  
стуча, взбирались сапоги!  
В них струйкой липкой и опасной  
стекали красные лампасы...

Это потопило меня окончательно. В те дни, теряя контроль над процессом, Глава давал в политике задний ход, похваливал Сталина. Гробовая тишина. Лишь в углу раздались хлопки и захлебнулись. Паники не было, была одна безнадега. «Агент, агент!..» — закричал в зал Премьер. «Ну вот, агентов зовет, сейчас меня заберут», — подумалось.

Зал злорадно затих.

А он продолжал вопить, но уже тоном ниже, видимо, выпустив пар: «Вы что руку подымаете? Вы на что руку подымаете? Вы что, нам путь рукой указываете? Вы думаете, вы вождь?»

---

И тут, бранясь, он, видимо, назвал залу или машинально назвал вдруг меня «товарищ Вознесенский». А может быть, за несколько минут чтения он вынужден был помолчать и тут понял, что перебрал?

Взмокший вождь с досадой нацепил свою маску, процедил: «Работайте». Я понял, что пока я спасен, а зал пока не выиграл. Потом меня прорабатывали другие залы.

Знал ли обо мне Хрущев раньше? Он не был знатоком поэзии. Но впоследствии была опубликована докладная записка в Политбюро за подписью Шелепина. В ней только перечислялись фамилии окружения Пастернака. И там среди знаменитых имен упомянута моя фамилия. Я думаю, что другие имена не интересовали Хрущева. Но фамилия «Вознесенский» могла запомниться по аналогии с председателем Госплана Вознесенским, любимцем Сталина, коллегой и кудрявым соперником Хрущева и Берии.

Так или иначе, впервые в истории *в лицо* русскому поэту была брошена угроза быть выгнанным из страны. Думаю, на моей судьбе случайно поставлена точка в традиционных отношениях «Поэт и Царь». Дальше судьбы поэзии и власти пошли параллельно, не пересекаясь. И слава Богу! Это было прилюдное унижение, публичная порка.

От получасового ора Премьер взмок, рубашка прилипла темными пятнами.

Но он и не думал передыхать.



---

— Ну, теперь, агент, пожалуй сюда! Ты, очкарик!! Нет, не ты, а ты, вот ты, в красной рубахе, ты — агент империализма, — короткий пухлый палец тыкал в угол зала, где сидел молодой художник Илларион Голицын, график, ученик Фаворского. Он-то, оказалось, и хлопал мне.

Худющий Илюша, меланхоличный, задумчивый, честный, весь не от мира сего, замаячил на трибуне.

ХРУЩЕВ: Почему хлопал?

ГОЛИЦЫН: Я хлопал Вознесенскому, потому что люблю его стихи, и я не агент...

— Да?! А еще что ты любишь?

— Я люблю стихи Маяковского.

— Чем докажешь?

— Могу наизусть прочесть.

— А зачем на трибуну вышел?

— Вы позвали.

— Ну, говори, если вышел.

— Я не собирался выступать, я не знаю, что говорить.

— А сам кто ты есть?

— Я — Голицын.

— Голицын? Князь? *(Смех в зале.)*

Пройдет немного времени, и они так же рьяно и искренне станут добывать себе графские титулы и наперегонки хоронить останки убиенной семьи монарха.

— Я — художник.

— Ах, художник!! Абстраксист!

— Нет, я реалист.

---

— Чем докажешь, чем докажешь?

— Я могу свои работы принести показать...

Третьей жертвой Голубого зала был Василий Аксенов. У него было время сгруппироваться. Вождь хрипел: «Вы что, за отца нам мстите?» Танк пер на соловья асфальта, писателя, определившего время, еще безусого, с наивными пухлыми губами. Но он прошел сквозь арест близких, ссылку, встречу там с матерью Евгенией Сем. («Крутой маршрут» и др.). «Мой отец — жив!» — поправил Аксенов. — «Он благодарит за развенчание культа личности, это помогло ему не сломаться».

Тут вождь утомился. Объявил перерыв.

Эренбург впоследствии спросил меня: «Как вы это вынесли? У любого в вашей ситуации мог бы быть шок, инфаркт. Нервы непредсказуемы. Можно было бы запросить пощады, упасть на колени, и это было бы простительно».

Помню, как в тумане, прослушал его доклад, где он уже хвалил Сталина и приводил нам в пример какие-то беспомощные вирши, помню, как прошел я через оживленную, вкусно покушавшую толпу. Около меня сразу образовывалось пустое место, недавние приятели отводили глаза, испарялись.

Помню, как вышел на темную мартовскую площадь Кремля. Бил промозглый ветер. Играли скользкие блики фонарей на мокрых булыжниках, уложенных плотно, один к одному, подобно скользким ухмылкам на лицах зала. Куда идти?

Кто-то положил мне лапищцу на плечо. Оглянув-

---

шись, я узнал Солоухина. Мы не были с ним близки, да и потом редко встречались, но он подошел: «Пойдем ко мне. Чайку попьем. Зальем беду». Он почти силой увлек меня, не оставляя одного, всю ночь занимал своим собранием икон, пытаясь заговорить нервы. Дома у него были только маслины. Наливая стопки, приговаривал: «Ведь это вся мощь страны стояла за ним — все ракеты, космос, армия. Все это на тебя обрушилось. А ты, былиночка, выстоял. Ну, ничего...»

Я год скитался по стране. Где только не скрывался. До меня доносились гулы собраний, на которых меня прорабатывали, требования покаяться, разносные статьи. Один из поэтов, клеймивший с трибуны собрания в Союзе писателей, требовал для меня и моего подельника... высшей меры, как для изменников Родины.

На латвийском вокзале я натолкнулся на плакат, выпущенный «Агитплакатом», где разгневанные мухинские Рабочий и Колхозница выметали железной метлой из нашей страны всякую нечисть и книжку с названием «Треугольная груша». Под плакатом стояла подпись: «Художник Фомичев, текст Жарова». В. Войнович рассказывал, что такой плакат, увеличенный до гигантских размеров, стоит при въезде в Ялту. Но простые люди и на Владимирщине, и в Прибалтике, да и в Москве, не одобряя власть, конечно, очень по-доброму тогда ко мне относились.

---

По стране искали и клеймили «своих Вознесенских». Худо пришлось тогда И. Драчу и О. Сулейманову...

Сознание отупело. Пришла депрессия. Впрочем, я был молод тогда — оклемался. Остались стихи. Тогда написались «Сквозь строй», «М. Монро». Боясь прослушки, я не звонил домой, наивно полагая, что власти не знают, где я. Андрей Приставкин вспоминает, как я загнанно сторонился всех, опасался читать стихи. По Москве пошел слух, что я покончил с собой. Матери моей, полгода не знавшей, где я и что со мной, позвонил американец Генри Шапиро, журналист «ЮП»: «Правда, что ваш сын покончил с собой?» Мама с трубкой в руках сползла на пол без чувств.

Через год, будучи на пенсии, Н.С. Хрущев передал мне, что сожалеет о случившемся и о травле, что потом последовала, что его дезинформировали. Я ответил, что не держу на него зла. Ведь главное, что после 56-го года были освобождены люди.

Странно, что, несмотря на пережитое, я не испытывал обиды на него. Не испытываю и сейчас. Я долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались и добрые надежды 60-х годов, мощный замах преобразований, и тормоза старого мышления, и купецкое самодурство. Да, правда, я отказался подписать поздравление к его 70-летию, когда он, Глава Державы, был в могучей силе, и редакции «Юности» пришлось разбросать подписи в виде ав-

---

тографов не в алфавитном порядке, чтобы не было видно, что не все подписали. Но это относилось к моему пониманию достоинства. Я никогда не забывал того, что Хрущев сделал для страны — освободил людей.

Да, мемуаристы правы: пройдя школу лицедейства, владения собой, когда, затаив ненависть к тирану, он вынужден был плясать перед ним «гопачок» при гостях, он, видимо, как бы мстя за свои былые унижения, сам, придя на престол, завел манеру публично унижать людей, растаптывать их достоинство — топал на тоненькую Алигер, на старушку Шагинян, кричал художникам в Манеже «господа педерасы!» Он не доверял интеллигенции, страшился гласности. Но он ли виноват? Виновата Система, воспитавшая его. Ныне опубликовано, как он, придя к власти, первым делом уничтожил документы о своем соучастии в кровавых расправах. Кровь тяготила его, и тем мужественнее подвиг его доклада на XX съезде.

Не он виноват, черное затмение виновато. Лъстецам он лично подписывал Ленинские премии по литературе за описания своих поездок. Его помощник Лебедев, никак не будучи писателем, не постеснялся устроить себе Ленинскую премию по литературе, такую же, которую имели А. Твардовский и М. Шолохов, и не имел, скажем, К. Паустовский.

Фото Хрущева с кулаком надо мной висело в

---

витрине «Известий» на Пушкинской площади. Фото сразу украли, разбив витрину.

Потом только я понял, что напоминает жест Премьера. Именно так спускали воду, дергая за туалетную ручку, из бачка старой конструкции. Очень трудно было отыскать такую ручку для моего видеома.

Историкам еще предстоит написать портрет Хрущева, его великих дел, я лишь рассказал об одном эпизоде, рассказал, что видел и пережил сам.

Что я «пробормотал» в ответ на самодержавное «вы — ничто»? Я тупо повторял: «Я — поэт».

В. Каверин, сидевший близко, расслышал другие мои слова. Он вспоминает в статье «Солженицын»: «Смертельно бледный Вознесенский говорил: «Я — ученик Пастернака».

Я прочитал воспоминания Ромма уже в журнале и поражен точностью его памяти, даже некоторые эпитеты сходны с моими записями, например «холодный Козлов», хотя я не был даже знаком с Роммом, о чем очень жалею.

Повлияла ли встреча с царем на мою психику? Наверное. Душа была отбита стрессом. Из стихов пропали беспечность и легкость. Назло им, вопящим: «В Кремль? Без галстука?! Битник!..» — я перестал с тех пор вообще носить галстуки, перешел на шейные платки, завязанные в форме кукиша. Это была наивная форма протеста.

Тяжелей всего было видеть не торжествующие рожи врагов в зале, а ускользящие улыбки прияте-



*С Зоей Богуславской. Переделкино*

лей в фойе во время перерыва, прячущих глаза, будто не узнающих тебя.

В центре фойе, в кругу литклассиков, среди серых пиджаков врезалось в память весеннее салатно-зеленое платье **Зои Богуславской**, молодого критика и начинающего прозаика. Рядом что-то вещал Лебедев, правая рука Хрущева. Заметив меня, она развернулась и демонстративно на весь зал поздоровалась. Подошла. Заговорила. Номенклатура обиженно выделяла адреналин. В этом поступке, рискованном для ее судьбы, озонно проступила чистота и красота ее характера. Странно, вроде гонимым был я, но именно **ее** хотелось спасти, вытащить из круга вурдалаков.

---

Орет судилища орда.  
Я прокаженным был, казалось.  
И только женщина одна  
подошла, не отказалась.

Живу меж темени и луж,  
и черепов, как Верещагин.  
И женщина, как желтый луч,  
мою дорогу освещает.

Необъяснимая вещь психология — даже теперь, зная, что вся истерика Хрущева была отрепетирована, чтобы напугать интеллигенцию, испробовать угрозу высылки из страны, в душе моей остался светлый, даже святочный образ Никиты Сергеевича, он остался для меня царем-освободителем. Я не держу на него зла за себя.

Как в анекдоте о вожде: «А мог бы и бритвой полоснуть!..»

Так душа моя приобретала экзистенциальный опыт, общий со страной и в чем-то индивидуальный, что, согласно Бердяеву, и способствует созданию личности.

Многое позабылось, но подушечки пальцев помнят ледяной кремлевский стаканчик, покотившийся по трибуне, помнят четкие хрустальные крестики граней на нем. Глядишь, не останови я этот стаканчик, упади он, разбейся на весь зал — очнулся бы Премьер от припадка, обстановка бы разрядилась, прибежали бы прислужники осколки заметать, кампания сорвалась бы, не было бы ни проработочных



---

собраний, ни всесоюзного ора, процесс развития культуры пошел бы по-иному...

Но стаканчик уцелел. Случай?

### ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...  
Нервы, что ли, обожжены?  
Тишины...

чтобы тень от сосны,  
щекоча нас, перемещалась,  
холодящая словно шалость,  
вдоль спины, до мизинца ступни.  
Тишины...

Звуки будто отключены.  
Чем назвать твои брови с отливом?  
Понимание — молчаливо.  
Тишины.

Звук запаздывает за светом.  
Слишком часто мы рты разеваем.  
Настоящее — неназываемо.  
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,  
с впечатленьями, голосами.  
Для нее музыкально касанье,  
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,  
чай, опять кулуарный авралец?  
горлопаны, не наорались? Тишины...

---

Мы в другое погружены.  
В ход природ неисповедимый,  
И по едкому запаху дыма  
Мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипают приварок.  
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,  
Светят тихие языки.

1964

\* \* \*

*Б. Ахмадулиной*

Нас много. Нас может быть четверо.  
Несемся в машине как черти.  
Оранжеволоса шоферша.  
И куртка по локоть — для форса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,  
нездешняя ангел на вид,  
хорош твой фарфоровый профиль,  
как белая лампа горит!

В аду в сковородки долдонят  
и вышлют к воротам патруль,  
когда на предельном спидометре  
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда выжав педаль,  
хрустально, как тексты в хорале,  
ты скажешь: «Какая печаль!  
права у меня отобрали...

---

Понимаешь, пришили превышение  
скорости в возбужденном состоянии..

А шла я вроде нормально...»

Не порть себе, Белочка, печень.  
Сержант нас, конечно, мудрей,  
но нет твоей скорости певчей  
в коробке его скоростей.

Обязанности поэта  
не знать километроминут,  
брать звуки со скоростью света,  
как ангелы в небе поют.

За эти года световые  
пускай мы исчезнем, лучась,  
пусть некому приз получать.  
Мы выжали скорость впервые.

Жми, Белка, божественный кореш!  
И пусть не собрать нам костей.  
Да здравствует певчая скорость,  
убийственнейшая из скоростей!

Что нам впереди предначертано?  
Нас мало. Нас может быть четверо.  
Мы мчимся —

а ты божество!

И все-таки нас большинство.

1964



*С Эдвардом  
Кеннеди*



*С Робертом  
Кеннеди,  
1967,  
Нью-Йорк*



*С Жаклин  
Кеннеди, 1967*

---

## ПОЭТ И СЛОВО



*Почему же гнев Никиты Сергеевича Хрущева обрушился именно на Вознесенского? Дело в том, что поездка поэта в 1961 году в США не осталась бесследной. В 1962 году выходит сборник «Треугольная груша» (1962). Именно эта книга явилась советским поэтическим окном в Европу и Америку. На улице Горького, в окнах сатиры, в 60-е годы был изображен рабочий, выметающий метлой «нечисть». Там фигурировал (среди нечисти) Андрей Вознесенский со сборником «Треугольная груша».*



Когда я впервые приехал в Америку, она была для меня, как для Колумба — полное открытие, и прежде всего, самого себя. Моя по-настоящему первая книга «Треугольная груша» была спровоцирована Америкой. Это был и культурный шок, и политический, и какой угодно. И вся моя жизнь сложилась потом в зависимости от этого. И это было окно свободы. Когда меня, например, куда-то не пускали, Дж. Кеннеди слал телеграмму, и вопрос решался. Так что Америка иногда и спасала. Со многими известными американскими поэтами меня связывает настоящая дружба. Увы, уже нет Аллена Гинсберга, с его уходом Америка очень много потеряла. Это великий поэт нашего времени, современный Уолт Уитмен.



---

Художник хулиганит?  
Балуй,  
Колумб!

По наитию  
      дую к берегу...  
Ищешь  
      Индию —  
Найдешь  
      Америку!

### **СТРИПТИЗ**

В ревю  
танцовщица раздевается, дуря...  
Реву?..  
Или режут мне глаза прожектора?

Шарф срывает, шаль срывает, мишуру.  
Как сдирают с апельсина кожуру.

А в глазах тоска такая, как у птиц.  
Этот танец называется «стриптиз».

Страшен танец. В баре лысины и свист,  
Как пиявки,  
глазки пьяниц налились.

Этот рыжий, как обляпанный желтком,  
Пневматическим исходит молотком!

Тот, как клоп —  
апоплексичен и страшон.  
Апокалипсисом воет саксофон!

---

Проклинаю твой, Вселенная, масштаб!  
Марсианское сиянье на мостах,  
Проклинаю,  
обожая и дивясь.  
Проливная пляшет женщина под джаз!..

«Вы Америка?» — спрошу, как идиот.  
Она сядет, сигаретку разомнет.

«Мальчик, — скажет, — ах, какой у вас акцент!  
Закажите мне мартини и абсент».

### МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО

Я Мерлин, Мерлин.

Я героиня  
самоубийства и героина.  
Кому горят мои георгины?  
С кем телефоны заговорили?  
Кто в костюмерной скрипит лосиной?

Невыносимо,  
невыносимо, что не влюбиться,  
невыносимо без рощ осиновых,  
невыносимо самоубийство,  
но жить гораздо  
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин  
(Я помню Мерлин.  
Ее глядели автомобили.  
На стометровом киноэкране





---

ах, мамы, мамы, зачем рожают?  
Ведь знала мама — меня раздавят,  
о, кинозвездное оледененье,  
нам невозможно уединенье,  
в метро,  
в троллейбусе,  
в магазине  
«Приветик, вот вы!» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты  
во всех афишах, во всех газетах,  
забыв,  
        что сердце есть посередке,  
в тебя завертывают селетки,

лицо измято,  
        глаза разорваны  
(как страшно вспомнить во «Франс-Об-  
зервере»  
свой снимок с мордой  
                                самоуверенной  
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:  
«Вы просто дуся,  
        ваш лоб — как бисерный!»  
А вам известно, *чем* пахнет бисер?!  
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,  
самоубийцы спешат упиться,





*Во время поездки по Америке*



*С Татьяной  
Яковлевой  
1978, Нью-Йорк*

---

— Тогда — о стадионах слушателей, которые вы собирали в 60-е. Как себя чувствует поэт в такой обстановке? Ощущение власти над аудиторией вас завораживало?

— Это же власть обоюдная была. Не только ты властвовал над толпой, но и толпа над тобой. Стадион диктует тебе поведение, это диктатура толпы. Поэтому я всегда старался бежать от всего этого, читал на стадионах все более сложные вещи. Потом эти стадионы прекратились, слава Богу.

— Но, тем не менее, вы тогда были тем, что сегодня называется «поп-звездой».

— Я был тогда очень наглым парнем. Когда в 60-е надавал в Париже самых глупых интервью, там ко мне пришел Илья Эренбург, боясь прослушивания, позвал на улицу и сказал: «Андрей, что вы творите? Вам ведь придется возвращаться». И я сам понимал, что в России по возвращении со мной что-то будет. Поэтому поехал из Парижа в Италию без советской визы и получил там очень большой гонорар, который нельзя было везти в Союз и нужно было потратить за несколько дней. Я пил, гулял, дарил подругам шубы и в конце концов все растратил. Решил оставить себе только небольшую картину Пикассо, которую он мне подарил. А когда приехал в Москву, понял, что картина осталась в отеле, когда меня «грузили» в самолет.

Так что я был «поп-звездой» со всеми полагающимся этому званию пошлостями.

— Шестидесятые и семидесятые годы были для вас интереснее, чем нынешние?

— Нет. Тогда у общества была надежда и цель, и

---

ты жил с этой целью. Сейчас видишь сложность мира и тщетность всех этих надежд. Если бы остались те времена, я бы так и остался наивным человеком.

Когда я писал для спектакля в Театре на Таганке строчки «уберите Ленина с денег», то был под влиянием Пастернака, который боготворил Ленина и считал, что он — это сюрреалистическая и самая сильная личность двадцатого века. Безусловно, так оно и было. В Театре на Таганке все взрывалось аплодисментами после этих строк. Сейчас нашли тогдашний донос из Госбанка в ЦК КПСС, где было написано, что это самые антисоветские стихи из всех мною сочиненных.

Сейчас я бы в эти игры не играл, наверное... Конечно, это ошибка была. Хотя, может быть, и нет.

— *На что же вы тогда надеялись — на «справедливый социализм»?*

— В общественном плане — да. Социализм с «человеческим лицом», как назвал это Роже Гарди. Все-таки неплохая формула, если бы ее можно было реализовать? А мы идем к капитализму XIX века, и это глупость, по-моему.

И потом — мы считали, что советская империя никогда не рухнет. Думали, что сражаться с ней все равно, что бить по боксерской груше. А когда все рухнуло, я говорил с Иосифом Бродским, и он сказал: «Империю жалко». Это очень сложный вопрос — есть геополитические моменты, но есть и права человека, которые очень важны.

— *Помимо Пастернака кто из тех, с кем вам*

---

*повезло встретиться, запомнился вам больше всего, показался самой выдающейся личностью?*

— Хайдеггер, конечно. Философ, крупнейший мыслитель XX века, немец. Он пришел на мой вечер во Фрайбургском университете, остался, и мы с ним проговорили всю ночь. Мне потом казалось, что я какие-то глупости порол, а когда получил стенограмму, оказалось, что говорил очень точно. Удивился даже, каким был умным тогда.

И еще Сартр (*французский писатель и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе*. — Авт.). Он с женой Симоной де Бовуар пришел в Москве на обсуждение моей «Треугольной груши». Тогдашняя аудитория русских почитателей поэзии настолько его загипнотизировала, что, уезжая, он сказал, что это было самым сильным из его московских впечатлений. Потом я встречался с ними в Париже. Сартр с Симоной де Бовуар показывали мне пикантный Париж, водили на мужской стриптиз.

После того как Сартр отказался от Нобелевской премии и сказал, что Пастернаку ее дали по политическим причинам, он, будучи в Москве, позвал меня в ресторан на общий ужин. Я решил, что его надо обязательно оскорбить, пришел на полчаса раньше и сказал: «Сартр, нам надо поговорить. Зачем вы трогаете Пастернака? Вы же в нем ничего не понимаете». Он не обиделся. Тогда я добавил: «Все знают, что вы отказались от Нобелевской премии потому, что Камю (*французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, младший современник Сартра*. — Авт.) получил ее раньше

---

вас». И вот это его задело всерьез, и с тех пор мы с ним не виделись.

— *С Набоковым вам не довелось встречаться?*

— Я очень любил Набокова как писателя, но Патришия Блейк, редактор моей американской книги и первая жена брата Набокова, Николаса, и сам Николас сказали мне, что ехать не надо, потому что Набоков очень не любит Пастернака и ревнует его к Нобелевской премии. «Он будет оскорблять при вас Пастернака, — говорили они мне, — что вы будете делать?» Сейчас я жалею, что не поехал.

— *Вас ведь тоже выдвигали на Нобелевскую премию?*

— Да. Хотя я тоже сейчас считаю, что она очень политизирована. Хотя миллион долларов — это очень приятно. Такие деньги дают писателю свободу.

— *Кумир многих интеллектуалов Хулио Кортасар как-то сказал, что пишет не более чем для десятка воображаемых читателей, в числе которых мог бы оказаться и он сам. А вы?*

— Я пишу не более чем для пяти близких мне людей. А потом написанное иногда не совпадает, но чаще совпадает с волной, на которой живет общество.

— *Среди написанного вами в последнее время — поэма для Интернета. Но сочиняете вы по старинке, на бумаге, или пробуете работать и на компьютере?*

— В компьютере есть магия, которая может затянуть. Я лишь диктую на компьютер и никогда не рисую на нем.

— *В чатах никогда не участвовали?*



---

— Участвовал. Хотя создается впечатление, что там присутствуют в основном одноклеточные существа, читать написанное ими очень интересно, так как люди пишут в Интернете бесконтрольно, как на стенах туалетов. В конце концов, чат — это стихия, свобода, а свобода — это прекрасно.

— *А какой вы видите в этом электронном контексте судьбу литературы? Дети сегодня предпочитают книге экран компьютерного монитора, у них уже нет уважения к печатному слову, а скоро и привычка к нему, может быть, пропадет...*

— Если книга должна погибнуть — пусть гибнет. Кто сказал, что литература — это именно напечатанное на бумаге слово? Возможно, появится новый тип литературы — интернетная, более сжатая, более информативно нагруженная. А раз более сжатая, то у поэтов будет больше шансов, чем у прозаиков. Но все равно это будет литература. Ведь кроме слова еще никто ничего более судьбоносного не выдумал, правда?

## ПОЭТ И ПАМЯТЬ

Мне много раз спасали жизнь. Я вспоминаю всех, тех, кто спас и забыл об этом, вспоминаю ваши ставшие родными лица.

В 1946 году инженер плодосовхоза в Одоеве спас меня, уже захлебнувшегося и потерявшего сознание в водовороте.

---

Мне спас жизнь оперировавший меня хирург Рябинкин, румяный, с клинышком воробьиной бородки.

Олжас Сулейменов спас мне жизнь (и себе) тем, что превысил скорость и машина, перелетев кювет, перевертывалась уже на мягком лугу.

Меня спасли сибирские незнакомые. Засидевшись с ними в ресторане аэропорта и уже зарегистрировав чемодан, я опоздал на самолет. Мы услышали по громкой связи о его взлете. Прилетев следующим в Москву, я побежал разыскивать свой чемодан в багаже улетевшего самолета. Справочная долго медлила с ответом, потом вышел какой-то начальник и, отводя глаза, сообщил: «Самолет разбился вместе с вашим чемоданом».

Неизвестный мне огородник, работавший на переделкинском поле ранним утром, спас меня, уже поваленного на землю сворой диких собак. В какой-то момент он понял, что истошный лай и безмолвно лежащее на земле тело вовсе не игра. Он подбежал, отогнал собак. У меня на теле была 36 укусов, я истекал кровью. После чего 2 месяца пришлось в дикую жару ездить в Москву колоться от бешенства.

Была и автоавария — меня сплющило в такси, въехавшим грузовиком. Водителя выбросило, а меня еще долго извлекали, так как все дверцы заклинило. Из-под песцовой шапки струйками бежала кровь. Я отказался от «Скорой», поехав на попутке в клинику к Л. Бадалянчу.

Однажды мне спас жизнь редактор одного толстого журнала, назовем его здесь тов. Н.

Неудавшиеся самоубийства часто вызывают юмор,

---

это тоже. Судьба моя неслась с устрашающим ускорением. Я запутался. Никто не хотел печатать мою поэму «Оза». Я считал ее самой серьезной моей вещью. Опустошенному после написания, мне казалось, что я больше ничего не напишу. Я понял, что пора кончать.

Близкие знают, что я никогда не жалуясь (разве листу бумаги), не плачусь друзьям и подругам в жилетку, не изливаюсь, не имею привычки делиться на бабский манер. Бестактно навязывать свои беды другому, у всех наверняка хватает своих.

Но тут подступил край. Непроглядная, затягивающая дыра казалась единственным выходом.

Я попробовал собраться с мыслями. Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и сопутствующие отправления организма тоже. Меня, в ту пору молодого поэта, устраивала только дырка в черепе.

Я написал два предсмертных письма. Одно адресовалось в «Правду», другое — президенту Джону Кеннеди, я писал, что больше не буду мешать строительству социализма, что я добровольно ухожу, но прошу опубликовать мое последнее произведение. Смысл был тот же. Копии я дал на хранение Зое.

Я заклеил два конверта-завещания и пошел к Саше Межирову, у которого был немецкий вороной пистолет.

Саша — фантазер, мистификатор, виртуальный реалист, но пистолет я сам видел, он сладко оттягивал мне ладонь... «Дайте мне его на три часа, — объяснил я убедительно. — Меня шантажирует банда. Хочу попугать».

Знаменитые стопроцентно правдивые глаза ус-

---

тавились сквозь меня, что-то смекнули и вздохнули: «Вчера Леля нашла его и выбросила в пруд. Слетайте в Тбилиси к Нонешвили. Там за триста рэ можно купить».

Два дня я занимал деньги. Наутро перед отлетом мне вдруг позвонили от Н.:

«Старик, нам нужно поднять подписку. У тебя есть сенсация?» «Сенсация» у меня была.

В редакции попросили убрать только одну строку. У меня за спиной стояла Вечность. Я спокойно отказался. Бывший при этом Солоухин, который знал ситуацию, промолчал. Напечатали — без купюр.

Держа свежий номер журнала или потом, заплывая в утренней реке, я думал, каким я мог быть кретинном тогда — не увидеть столь многого, не узнать, не встретить утром тебя, не написать этой вот строки.

И с каким смехом и недоумением прочитали бы мои письма высокие адресаты.

Если бы получили.

«Мы не зря считали, что он шиз, и поэма его об этом говорит. Смешно эту галиматью печатать», — позабавились бы в первом случае.

Ну, а американцы — только бы пожали плечами... Ах, эти страдания виртуального Вертера... Но история имела продолжение, со слов нашего попутчика АА, которого подсадили по дороге в такси, пошел слух, что письмо было адресовано то ли американскому посольству, то ли в американские спецслужбы — других свидетелей того, что ехали в газету «Правда», не оказалось...

---

## АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ О ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ

(Из интервью с Еленой Белостоцкой,  
газета «Труд» 24.01.88)

— Андрей Андреевич, по свидетельству самого Высоцкого известно, что в спектакле «Антимиры», поставленном по вашей книге, он впервые вышел на театральную сцену с гитарой, пел и впервые читал стихи...

— Да, тогда в его собственном поэтическом репертуаре числилось лишь несколько песен. Но уже в то время в нем чувствовался поэт. Он читал стихи не как актер, а как поэт — нутром.

А вскоре начались репетиция еще одной постановки по моей пьесе — «Берегите ваши лица». Жил я тогда рядом с Театром на Таганке. Высоцкий с друзьями часто бывал у нас, пел новые песни. Вместе Новый год встречали. Для этого спектакля он написал две песни. И был главным героем, играл роль Поэта. По его просьбе я вставил его запрещенную песню «Охота на волков».

Увы, едва родившийся на сцене спектакль «Берегите ваши лица» после трех представлений запретили. В частности, у меня требовали убрать песню «Охота на волков». Я, конечно, отказался ее снять. Пришлось пожертвовать спектаклем. А жаль! Это был, может быть, один из лучших спектаклей Таганки. Володя потом написал стихи: «От этих лиц остался профиль детский, и первенец был сбит как птица в лет...»

— При жизни Высоцкого вы были, кажется, единственным из поэтов, кто написал и решился опубликовать посвященные ему стихи. Как это произошло?

---

— В 70-м году у него вдруг пошла горлом кровь, и его вернули к жизни в реанимационной камере. Мы все тогда были молоды, и стихи свои я назвал «Оптимистический реквием, посвященный Владимиру Высоцкому». Помнится, газеты и журналы тогда отказывались их печатать: как об актере о нем еще можно было писать, а вот как о певце и авторе песен... Против его имени стояла стена запрета. Да и я сам был отнюдь не в фаворе, невозможно было пробить эту стену. Тем не менее стихи удалось напечатать в журнале «Дружба народов», который и тогда был смелее других. Все же пришлось изменить название на «Оптимистический реквием по Владимиру Семенову, шоферу и гитаристу». Вместо «Высоцкий воскрес» пришлось напечатать «Владимир воскрес». Стихи встретили кто с ненавистью, кто с радостью. Некоторое время спустя удалось включить эти стихи в мою книгу почти в первоизданном виде. На авторских вечерах я читал их целиком. Как Володя радовался этому стихотворению! Как ему была необходима душевная теплота!

<...> Смехотворны печатные упреки в том, что он не национальный поэт, что в нем нет ничего русского. Жаль авторов этих нападок. Они — глухие. Не слышат, не понимают такие его песни, как, например, «Банька», «Кони»... Где как не в сегодняшней России могли они родиться? Во всех его песнях, и это главное, размашисто ломает рамки наш национальный характер — с его юмором, широтой, с надрывом от того, что выпало пережить.

— *Какая черта в характере Владимира Семе-*

---

*новича как человека казалась вам наиболее примечательной?*

— Он безусловно понимал, что слава его всенародная. Может быть, поэтому был подчеркнута, как бы это сказать... «антикумирен», что ли. Был скромн, деликатен, а без гитары — даже незаметен. Болгарский поэт Любомир Левчев однажды попросил познакомить его с Высоцким. Левчева привели в дом, куда пригласили и Володю. За беседой просьба болгарского товарища забылась, и когда гости уже стали расходиться, он вдруг с обидой воскликнул: «Что же вы не познакомили меня с Высоцким!» И услышал в ответ: «Да ты весь вечер разговаривал с ним, он рядом с тобой сидел...»

<...> Помню его свадьбу. Володя мог бы устроить ее даже на Манежной площади, оповести об этом — и там бы не хватило места для всех желающих его поздравить!

В 70-м, после того, как они зарегистрировались с Мариной Влади, Володя торжественно сказал: «Разрешите пригласить вас с Зоей на свадьбу, которая имеет честь состояться 13 января. Будет узкий круг. Мы решили позвать только самых близких».

В их квартирке на 2-й Фрунзенской набережной, снятой накануне и за один день превращенной Мариной в уютное жилище, кроме новобрачных, были только создатель Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов, Людмила Целиковская, кинорежиссер Александр Митта с женой Лилей, испекшей роскошный пирог, актер МХАТа Сева Абдулов, поз-

---

же подъехал художник Зураб Церетели, который пригласил молодых в свадебное путешествие в Грузию, куда они и отбыли на следующий день. Володя был удивительно тихим в тот день, ничего не пригубил...

<...> Сейчас время его народного торжества. Но и обыватель пытается приобщить певца и поэта к себе. Его лик улыбается с целлофановых мешков, от его могилы начинаются спортивные забеги... Володя всю жизнь боролся против пошлости, обывательщины.

Важно не упрекать друг друга, кто что сделал или не сделал для него — важно задуматься, чего мы все вместе не сделали для него при жизни.

Горько, что над его могилой стали сводить сче-ты, кое-кто заводит свару. Володя бы этого не одобрил. Любовь к поэту должна рождать добро, а не озлобленность.

В песнях Высоцкого звучал глас народа, в них содержалось то, что думала площадь...

### **НА СОРОКОВИНЫ ВЫСОЦКОГО**

Наверно, ты скоро забудешь,  
как жил на краткой земле.  
Ход времени не разбудит  
оборванный крик шансонье.  
Несут тебе свечи по хляби.  
И дождик их тушит, стуча.  
На каждую свечку — по капле.  
На каждую каплю — свеча.





*А. Вознесенский с В. Высоцким*

### **ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО**

Не называйте его бардом.  
Он был поэтом по природе.  
Меньшого потеряли брата —  
Всенародного Володю.

Остались улицы Высоцкого,  
Осталось племя в леви-страус,  
От Черного и до Охотского  
Страна неспетая осталась.

Вокруг тебя за свежим дерном  
Растет толпа вечно живая.  
Ты так хотел, чтоб не актером —  
Чтобы поэтом называли.

---

Правее входа на Ваганьково  
Могила вырыта вакантная.  
Покрыла Гамлета таганского  
Землей есенинской лопата.

Дождь тушит свечи восковые...  
Все, что осталось от Высоцкого,  
Магнитофонной расфасовкою  
Уносят, как бинты живые.

Ты жил, играл и пел с усмешкой,  
Любовь российская и рана.  
Ты в черной рамке не уместисься.  
Тесны тебе людские рамки.

С какую страшной перегрузкой  
Ты пел Хлопушу и Шекспира —  
Ты говорил о нашем, русском,  
Так, что щемило и щепило!

Писцы останутся писцами  
В бумагах тленных и мелованных.  
Певцы останутся певцами  
В народном вздохе миллионном...

### **СМЕРТЬ ШУКШИНА**

Хоронила Москва Шукшина,  
хоронила художника, то есть  
хоронила страна мужика  
и активную совесть.

---

Он лежал под цветами на треть,  
недоступный отныне.  
Он свою удивленную смерть  
предсказал всенародно в картине.

В каждом городе он лежал  
на отвесных российских простынках.  
Называлось не кинозал —  
просто каждый пришел и простился.

Он сегодняшним днем — как двойник.  
Когда зябко курил он чинарик,  
так же зябла, подняв воротник,  
вся страна в поездах и на нарах.

Он хозяйственно понимал  
край как дом — где березы и хвойники.  
Занавесить бы черным Байкал,  
словно зеркало в доме покойника.

1975

## А.МЕНЬ

### 1

Кто поднял топор на священника?  
Кто шел за ним в раннюю стынь?  
И как найти в сердце прощение  
тому, что сейчас творим?  
Кто поднял топор на священника,  
тот проклял себя. Аминь.  
Неужто страна в деградации  
болеет так тяжело,

---

когда не до святотатства  
до святотопорства дошло!  
Красивый. Сердца ежечасно  
смягчал. Темны времена.  
Убитый домой стучался.  
Его не узнала жена.

Накрыла его безучастная  
сусальная простыня.  
С его позвонками шейными  
диспут провел топор.  
Страна, убивая священников,  
пишет себе приговор.

Они беззащитной аортой  
с Тарковским были близки,  
пятьсот пятьдесят четвертой  
школы ученики.  
Мы вместе учились в чертогах  
пятьсот пятьдесят четвертой.  
На панихиде твоей  
от имени нашей школы,  
зажгут тебе свечку скорбную,  
опальный протоиерей.  
Приход посреди России.  
Афганцы. Маковок синь.  
и девушка вслед литургии  
вдохнула: «А. Мень... Аминь...»  
А в небе кровавым довеском  
над утренней нашей тропой  
с космической достоверностью  
предсказанный Достоевским,  
как спутник, летит топор.

Прокатилось до Армении от московских деревень:  
Мень,мень,мень ...

и афганцы парашютные шепчут исповедь с колен,  
автоматами прошитые, точно в дырочках ремень:

«Мень,мень,мень...»

Отвечает эхо: «Мень — нем».

*Новая Деревня, Храм Сретенья  
10 сентября 1990*

#### **НА СМЕРТЬ ЮРИЯ ЩЕКОЧИХИНА**

Под траурным солнцем июля —  
отравленный сволотой,  
блуждает улыбочкой Юра,  
последний российский святой.

2003



*Ю Щекочихин*

---

Ю.Д.

Юрий Владимирович Давыдов.  
Смушал он, получив «Триумф»,  
блатною шапочкой ликвидов  
наполеоновский треух.

Бывалый зэк, свистя Вертинского,  
знал, что прогресс реакционен,  
за пазухою с четвертинкою  
был празднично эрекционен.

На сердце ссадины найдут его.  
Стыдил он критика надутого:  
мол, муж большого прилежания  
и ма-алого дарования.

Бледнели Брежневы и Сусловы,  
когда, загадочней хасидов,  
за правду сексуальным субликом  
под свист выскакивал Давыдов.

Не залезал он в телеящики.  
Мне нашу жизнь собой являл.  
И клинышек его тельняшки  
звенел, как клавиша цимбал.

Вне своры был, с билетом волчьим.  
Он верил в жизни торжество.  
Жизнь поступила с ним, как сволочь,  
когда покинула его.

2004



*Анна Политковская*

### **ЧАСОВНЯ АННЫ ПОЛИТКОВСКОЙ**

Memento Anna

Часовня Ани Политковской,  
Как Витязь в стиле постмодерна.

Не срезаны косой-литовкой,  
цветы растут из постамента,  
Все не достроится часовня.

Здесь под распятым деревянным  
лежит расстрелянная совесть —  
новопреставленная Анна

Не осуждаю политологов —  
пусть говорят, что надлежит.

---

Но имя «Анна Политковская»  
уже не им принадлежит  
Была ты, Ангел полуплотская,  
последней одиночкой гласности,  
Могила Анны Политковской  
глядит анютиными глазками.  
Мы же шустрим по литпогостам  
политруковщину храня  
Врезала правду Политковская  
за всех и, может, за меня?  
И что есть, в сущности, свобода?  
В жизнь воплотить ее нельзя.  
Она лишь пониманье Бога,  
кого свобода принесла.  
И что есть частная часовня?  
Часовня — лишь ориентир.  
Найти вам в жизни крест тесовый,  
который вас перекрестил?  
Накаркали. Накукарекались.  
Душа болеет как надкостница.  
Под вопли о политкорректности  
убили Анну Политковскую.  
Поэта почерк журавлиный  
Калитка с мокрой полировкой.  
Молитвенная журналистика  
закончилась на Политковской.  
Ментам мешают сантименты.  
Полгода врут интеллигентно.  
Над пулей с меткой «Политковская»  
Черны деревьев позументы.



---

Полусвятая, полускотская  
Лежит в невыплаканном горе  
страна молчанья, поллитровок  
и Чрезвычайного момента —  
Memento mori.

#### ЧАСОВЕНОК

Мы повидались с Политковской  
у Щекочихина. Заносчив  
был нос совенка-альбиноски  
и взгляд очков сосредоточен.  
А этот магнетизм неслабый  
мне показался сгоряча  
гордыней одинокой бабы,  
умеющей рубать с плеча.  
Я эту легкую отверженность  
познал уже немолодым, —  
что женская самоотверженность  
с обратной стороны — гордынь.  
Я этот пошляковский лифтинг  
себе вовеки не прощу, —  
что женщина лежала в лифте.  
Лифт шел под землю — к Щекочу.  
Никакой не Ангел дивный,  
Поднимающий крыла.  
Просто совестью активной  
в этом мире ты была.  
Мать седеет от рыдания.  
Ей самой не справиться.

---

Ты облегчишь ей страданья  
наша сострадалица.  
Ты была совенок словно.  
Очи. Острота лица.  
Есть святая для часовни  
Анна Сострадалица.  
Нас изменила Политковская.  
Всего не расскажу, как именно.  
Спор заведет в иные плоскости.  
Хоть нет часовни ее имени.  
Она кометой непотребной  
сюда явилась беззаконно.  
В домах висят ее портреты,  
как сострадания иконы.  
Не веря в ереси чиновние,  
мы поняли за этот срок,  
что сердце каждого — часовня,  
где верх ногами — куполок.  
Туда не пустит посторонних,  
седой качая головой,  
очкарик, крошка-часовенок,  
часовенки той часовой.  
Молись совенку, белый витязь.  
Ведь Жизнь — не только дата в скобках.  
Молитесь, милые, молитесь  
в часовне Анны Политковской.  
Чьи-то очи и ланиты  
засветились над шоссе!  
Как совенок, наклонившийся  
на невидимом шесте.

---

## БЛУЖДАЮЩАЯ ЧАСОВНЯ

Часовни в дни долгостроения  
не улучшали настроения.  
Часовня — птица подсадная  
Она пока что безымянна,  
но у любого подсознания  
есть недостреленная Анна.  
Я обращаюсь к Патриарху,  
услышанным сердцебиением,  
чтоб субсидировать триаду —  
Смерть. Кровь. Любовь — всем убиенным!  
Пускай придут инвестиции,  
пусть побеждает баснословно  
спасение души возвестившая  
Блуждающая часовня.  
Блуждающая меж заблудших  
кто отлучен катастрофически,  
кто облучен сегодня будущим  
как гонщики и астрофизики  
Сосульки жмурятся как сванки.  
Окошко озарилось плошкой  
блуждающей часовней — Анной  
Степановною Политковской  
Не важно, кто Телец, кто Овен  
Прислушайтесь — под благовест  
идет строительство часовен.  
Когда достроимся? Бог весть!

---

7.10.06

Седьмого, десять, ноль шесть.  
Немного земного. Дерзость, но крест.  
Молчит ли толпа безлика?  
Чеченская ли война?  
Взирает на нас Великая  
Отечественная война.  
Ответственность за содеянное —  
не женщин и не мужчин —  
есть высшая Самодеятельность  
иных, не мирских причин.  
Обертывается лейкозия  
тому, кто шел против них —  
такие, как Политковская,  
слепой тех сил проводник  
Курит ли мент «ментоловые»?  
Студента судит студент.  
На нас проводит винтовка  
следственный эксперимент.  
След ниточкой дагестанской  
теряется среди лавин.  
Жизнь каждого — дегустация  
густых многолетних вин.  
Ждет пред болевым порогом,  
прикрыта перед виной иной  
моя вина перед Богом,  
и Бога — передо мной.  
Общественные феномены...  
Голода и Чечни...

---

Бывает народ виновен?  
Формулы не точны.  
Все это так. Слеза ребенка  
и расширяющийся блиц,  
но взгляд невинного совенка  
указывает на убийц.

#### ФЕВРАЛЬСКИЙ ЭПИЛОГ

Над кладбищем, над Троекуровским  
Снег как колонны с курватурами  
Сметаем снег с Твоей могилы.  
«А где ж дружки ее? Чай, скурвились?»  
изрек шофер: «Помочь могли бы».  
А рядом хоронили муровца —  
Салопы, хмурые секьюрити,  
шинели и автомобили.  
Поняв, что мы — твои тимуровцы,  
к нам потеплели. И налили.  
Шофер наш с красною лопатою,  
перебирая снег, поморщился.  
Водка — не лучшая помощница.  
Лампадки, бусы, мерзлый лапотник  
«Новой газеты» траур. Лабухи  
и пацаны тебя любили.

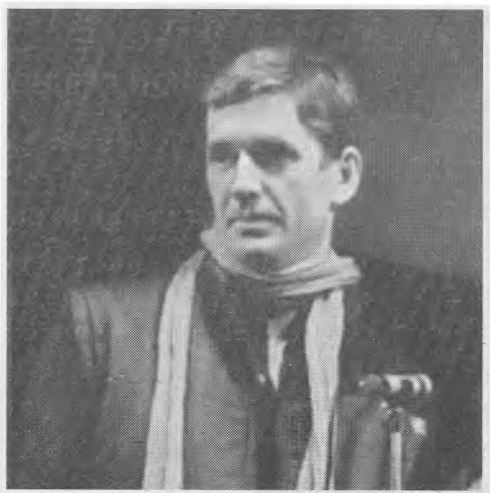
Лишь ленты деревца могильного  
в снегу чернели как мобильники.  
Сегодня снегопад обильный.

---

Что снится вам, Анна Степановна?  
Поле с тюльпанами? Кони с тимпанами?  
Жизнь? Чеченцы с террекурами?  
А за оградой Троекуровской  
убийца с будущим убийцей  
пил политуру, кушал пиццу,  
делился с ним запретным куревом,  
девицу в кофточке сокуровой  
улещивал? — Наоборот!

Гриппозные белели курицы.  
Следя, как роверы паркуются.  
Они народ имели в рот.  
И ждали девку белокурую  
два хулигана у ворот.  
Читатель мой благоразумный,  
не знаю, чем тебя завлечь?  
Я обожаю нецензурно,  
неподражаемую речь!..  
Куда ведет нас жизни уровень,  
полусвятой, полубесовский?  
Поставь свечу на Троекуровском  
в часовне Анны Политковской  
и в наше время коматозное,  
по Троекуровским пределам  
дымок, курясь над Крематорием,  
попыхивает чем-то белым.

2006



## ПОХОРОНЫ АБДУЛОВА

### I

Провожала Москва Абдулова.  
Толпы безголовые тулова.  
Он был нашим «а» и «б»  
В алфавитной темной судьбе.  
Вслед «д» продудело про  
Дело или Добро?

### II

Лежал Александр Абдулов  
Картинно среди страны  
Без курева, без загулов —  
Тарантино из Ферганы.

---

Лицо остывающей грелкой,  
Вернее, что было лицом,  
Летающею тарелкой,  
Уносится за «Ленком».  
Мы, с лычками и без лычек,  
С толпою заподлицо,  
Слепые, идем, безликие,  
Потерявшие свое Лицо.  
Лицо его плыло сбоку  
Красиво, как полубог,  
Тинейджеровскую скобку  
Сменивши на полубокс.  
Он был номинантом нации.  
Я понял, какой ценой  
Он «с 1-го по 13-е»  
Спел, будто прощаясь со мной.  
Лежал он уже не прежний,  
Сжигавший себя дурак,  
С улыбочкой небрежной,  
Натянутою на рак.  
Бабы жгли его кислотой,  
Меняли его черты.  
Ах, времечко золотое!..  
Любовь — финал доброты.

### III

Клял почвенник Мрак хазаров,  
Но без хазаров — развал.  
Озабоченный Марк Захаров  
Гениальным тебя назвал.



---

Молва, как штаны брезентовые,  
Останется после всех.  
Модели твои бессмертны.  
Но смертен ты, человек.  
Москва провожала Абдулова.  
Милиции сняв кольцо,  
Толпа безликая сдуру  
Молила вернуть Лицо.  
Придет ли сигнал оттуда?  
Верните лицо Москвы!  
Дома разъезжались, будто  
Всадники без головы.

#### IV

Ты преодолел заторы,  
Не соблюдал посты.  
Спасая мир Красотою,  
Себя не сумел спасти.  
Саша, прости!

2008

#### ИЗ АВТОРЕКВИЕМА

*Памяти У.Б. Йейтса*

Дай, Господи, еще мне десять лет!  
Воздвигну Храм. И возведу алтарь.  
Так некогда просил другой поэт:  
«Мне, Господи, еще лет десять дай!»  
Сквозь лай клевет, оправданных вполне,  
дай, Господи, еще лет десять мне.

---

За эти годы будешь Ты воспет.  
Ты органист, а я — Твоя педаль.  
Мне, Господи, еще лет десять дай.  
Ну что Тебе каких-то десять лет?  
Я понял: жизнь прошла как бы вчерне,  
несладко жил — но все же не в Чечне.  
Червонец дай. Не жмись, как вертухай!  
Земля — для серафимов туалет.  
И женщина — жемчужина в дерьме.  
Будь я — Господь, а Ты, Господь, — поэт,  
я б дал тебе сколько угодно лет.

Г

Во мне живет непостижимый свет.  
Кишки проверил — батареек нет.  
Зверек безумья въелся в мой скелет.  
Поэт внутри безумен, не извне...  
Во сне  
я вижу храмовый проект  
в Захарово. Оторопел  
автолортретный парапет...  
Спасибо Алексу Сосне  
за помощь. Дай осуществить проект,  
чтоб искупить вину греховных лет!..  
Я выбегаю на проспект.  
На свет  
летят ночные бабочки: «Привет!»  
Мне мент орет: «Переключайте свет!»  
Народ духовный делает минет.  
Скинхед  
пугает сходством с ламою-далай.

---

Мне, Господи, еще лет десять дай  
транслировать Тебя сквозь наш раздрай!

Поэту Кисти ты ответил «нет».  
Другой был, как Любимов, юн и сед,  
дружил с Блаватской, гений, разгильдяй.  
Поэт внутри безумен, не вовне —  
в занудно-шизанутой стороне,  
где даже хлеб мы называем «бред».  
Дух падших листьев —  
как «Martini» Dry.

Б

Уехать бы с тобою на Валдай!  
Там, где Башмет играет на сосне.  
У красных листьев запах каберне.

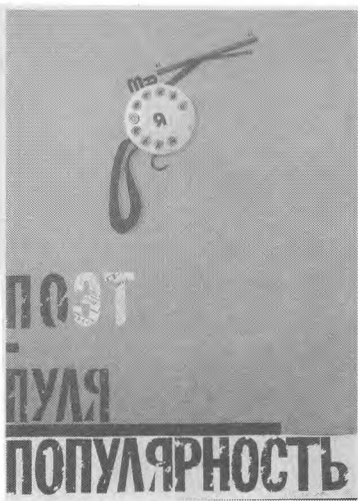
Люблю Арбат, набитый, как трамвай,  
проспекта посиневшее яйцо.  
Люблю, когда Ты дышишь горячо.  
Мне, Господи, еще лет десять дай!  
Какой ты будешь через десять лет,  
Россия, с отключенным светом край?  
Кто победит — Господь или кастет?  
Мне, Господи, еще лет десять дай!  
Вдруг пригодится мой никчемный свет,  
взвив к небу купол, где сейчас сарай...  
Безумье мысли может нас спасти.  
Меня от клятвы не освободи —  
хотя бы десять лет дай, Господи.

2002



*Есенин и Айседора 1992*

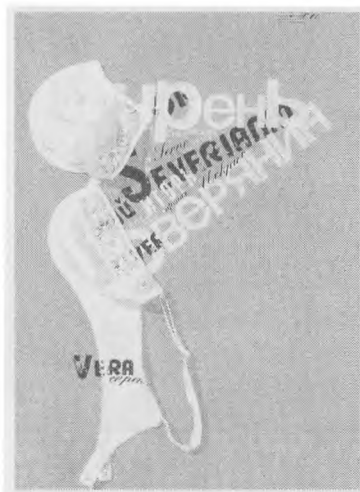
Видеомы как жанр связывают с именем Андрея Вознесенского. Он впервые соединяет чтение стихов с музыкой и демонстрацией видеом. Выставки видеом — с успехом прошли в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, в Париже, Нью-Йорке, Берлине.



*Маяковский*



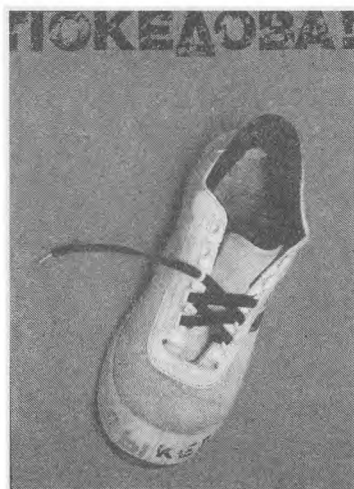
*Набоков*



*Игорь Северянин*



*Анна Ахматова, 1992*



*Прощание с XX веком*



*Гумилев — 91*

---

## ПОЭТ И СЛОВО

Выпуклы формы сайта «Новые публикации». Новые?

Или Прошлые?

Эта публикация произошла в 2000 году — первая публикация главы из моей древней поэмы «Лонжюмо», которую я писал до и после хрущевского ора. Вопреки общему мнению, публикация ее проходила с трудом. Одну главу особенно было жалко. Тогда я нашел телефон всесильного секретаря ЦК по идеологии, позвонил и сказал: «Что за дела? Не печатают ленинскую цитату!» Трубка грозно прогромыхала: «К'то не печатает?! Почему?» Затем трубка осторожно поинтересовалась: «А что, собственно, за цитата?» Я прочитал ему эту главку:

Мы — утопленники Утопии.  
Изучая ленинский текст,  
выражение «двоежопие»  
мною прочитывается как тест.

Вылезает из круглых скобок  
перекошенный глаз, как циклоп.  
Раздвоение душ прискорбно.  
но страшней — раздвоение жоп.

Удивительная новинка —  
человек с четырьмя половинками.  
Амортизирован, чтоб лежать —  
НЕПОНЯТНО, КУДА ЛИЗАТЬ.

---

Многоженство антизаконно.  
К многоженству сейчас пришли,  
как упругие шампиньоны,  
их выращивает Дали.

Но, увы, еще до Потопа  
от рождения нам дана:  
одна Родина, одна жопа  
и, увы, голова одна.

Трубка минуты две молчала — может, он осмысливал услышанное или просил секретаря найти нужную цитату. Наверное, так, потому что наконец трубка ответила: «Действительно, у Владимира Ильича встречается это слово — трижды, в разных стенограммах. Но читатели нас не поймут. Кстати, как там у вас: «Увы, одна голова?» Я услышал угрозу: то ли мне, то ли он о своей голове задумался.

Но вернемся к архитектурным овалам. Тектоника хочет воспарить.

Бюро «Futuraма» выставило знаменитый объем жилища, к которому входящий должен прикоснуться ладонью и куб завибрирует в такт вашему сердцу. Так вы становитесь соучастником создания. Кардиограмма красоты? Сердце вместо декора? Кардиодекор?

Вообще, в сегодняшнем зодчестве торжествуют метафизические идеи Захи Халид, выпускницы английской архитектурной школы. Объемная иракянка в черном платке на голове, она олицетворяла в 90-е годы романтический стиль, правда, почти ничего тогда еще не построив, кроме знаменитого

---

бара с интеллигибельными<sup>1</sup> интерьерами. Теперь Захи Халид стала коммерческим лидером и классиком нонконструктивистской архитектуры. Ее проекты — движущиеся, перетекающие из одной формы в другую, как кто-то сказал, «похожие на огни машин ночного города, снятые замедленной камерой». Менталитет человеческий не поспевает за зодчими. Самая земная, консервативная область искусства — архитектура — находится перед прыжком в откровение.

А как Поэзия отзывается на эти изменения сознания? То, что раньше казалось изысканным приемом, даже трюком (палиндром, звуковая игра), ныне стало приемлемой для всех естественностью.

Еще в конце прошлого века мне открылась круговая метафора, когда одно слово перетекало в другое, создавая движение.

ШАЛАНДЫ ШАЛАНДЫШАЛАНДЫША —  
ЛАНДЫША

Как в Бильбао, смысл, дыша, переходит от корабельной формы шаланды к задушевной форме ландыша.

*Навел Басинский*

## **ОБ АНДРЕЕ ВОЗНЕСЕНКОМ**

Один из своих первых сборников он назвал «Треугольная груша». И вот что любопытно: века и века люди видели, что груша действитель-

---

<sup>1</sup> Интеллигибельный — умопостигаемый, мыслимый (ред.).



---

но треугольная, а не круглая, как яблоко. Но лишь истинный поэтический взгляд способен не только увидеть очевидное, но и дать этому название. Да еще и такое, которое при всей своей очевидности звучит как неслыханная дерзость. Вот это и значит — таранить воздух детским лбом.

Над Вознесенским часто и много смеялись. «Нет, ты не Гойя, ты — другое». Ну правда же смешно — написать о себе: «Я — Гойя!» Это серьезность, переходящая в шутовство. Но изначально поэты и были шутами. Шутами, которые на странном своем шутовском языке говорили правду королям. Иногда короли смеялись, иногда приходили в неистовый гнев, как и случилось с несчастным голым королем Никитой Сергеевичем, который думал, что обозлился на Вознесенского, а на самом деле — просто вышел из себя, сановного, верховного, — но в этом-то и заключалась задача шута-поэта — вывести человека из сановника.

Вознесенского любят и не любят, ему подражают и его пародируют. Кстати, любой филолог знает, что возможность пародирования является первейшим признаком истинной оригинальности. Нельзя пародировать вторичное. Я и сам по своей литинститутской молодости наговорил много злого о Вознесенском. Нашими кумирами были поэты нового поколения: Жданов, Еременко, Парщиков, ныне уже покойная Нина Искренко... Но сегодня-то понимаешь, что без Вознесенского, без его «Треугольной груши» и «Параболы», не было бы и наших

---

тогдашних кумиров. Дело не в том, что он Первый. До него были Хлебников, Маяковский, Северянин... Пастернак, наконец. Дело в том, что в, может, и неплохие, но эстетически затхлые советские годы Вознесенский взял и откупорил бутылку с джином метафорической свободы. И загнать этого джина обратно были уже не в силах ни Хрущев, ни Брежнев, ни Андропов. А потом уже появились метаметафористы, куртуазные маньеристы и многие, многие, многие. А Вознесенский так и остался — первой любовью свободной поэтической метафоры в несвободные годы.

И все потому, что он посмел сравнить свой портрет с аэродромом.

*Александр Шуплов*

## **ОБ АНДРЕЕ ВОЗНЕСЕНСКОМ**

Помнится, в душном августе 1968 года мы, вчерашние десятиклассники, сидели в одной из московских многотиражек и, раскачиваясь на стульях, читали наизусть, с завывом, любимые стихи: «Монолог Мерилин Монро», «Плач по двум нерожденным поэмам», «Лобную балладу»... У каждого был свой Вознесенский.

Страна была влюблена и напугана новой популяцией поэтов — задиристых, взрывоопасных, обоюдоострых как лезвие... Среди них — один в свитерке, воспетом им не в одном стихотворении, с лицом, сведенным к губам, с суверенной челочкой торчком... Впрочем, челоч-

---

ки носили все наши поэтические кумиры... «Сама судьба совала его в среду недовольных», — обмолвился Вигель о Пушкине. Формула ехидного Филип Филипыча применима была ко всей русской поэзии, будь то Тредиаковский, Гумилев, Цветаева... Не обошла стороной она и плеяду поэтов-шестидесятников. В том же 1968 году Вознесенский направляет в «Литгазету» письмо протеста против ввода советских танков в Чехословакию. Еще одно письмо его — в защиту Солженицына — осудили на секретариате Союза писателей. До этого — трибунное препирание с Хрущевым. Потом — участие в крамольном (а по нынешнему прочтению — донельзя невинном!) альманахе «Метрополь»...

Андрей Вознесенский — знаковая фигура в поэзии России. Он появился в с в о е время и шел в ногу со с в о и м временем, пытаясь то и дело на полшага его обгонять. В России, как не раз замечено, обгон на столбовой дороге, как и на проселочной, всегда идет слева. Искусство испокон веку нуждалось в раздражителях, которые стимулируют его — искусства! — развитие. Вознесенский стал таким раздражителем. Его уничижительно приписывали в ученики к Кирсанову, противопоставляли «тихой» (читай — настоящей!) поэзии. Это противопоставление происходит и сейчас. А между тем его умение «взрывать» слово, сдирать с него внешнюю апельсиновую кожуру — так, чтобы сок брызгал в лицо и покалывал кожу, — этим умением в нашей поэзии обладали единицы: «Леса мои сбросили кроны, /пусты они и грустны,/ как

---

ящички с аккордеона, /а музыку унесли». И спектакль «Антимиры» на Таганке выдержал 600 представлений, а «Юнона» и «Авось» поставила рекорд среди отечественных мюзиклов. Зал восторженно принимал обжигающее хулиганство Высоцкого и Золотухина в «антимирском» спектакле: в пародии из поэмы «Оза» на «Черного ворона» Эдгара По благолепный Золотухин читал: «Уничтожив олигархов, /ты настроишь агрегатов,/ демократией заменишь/ короля и холуя...» Высоцкий перехватывал диалог: «Он сказал: «А на...» (зал замирал) «А на фига?» — вопрошал Высоцкий. Кстати, поэма появилась в середине шестидесятых в журнале... «Молодая гвардия», ныне потерявшем свою литературную кредитоспособность и спорадически загнивающим до самого оглавления. В памяти читателей журнал остался не нынешними стихами типа «кубыть-мабуть-ядрена штукатурка...», а несколькими чудодейственными для нашей литературы акциями, в том числе и публикацией поэмы Вознесенского «Оза».

Поэзия всегда донельзя космополитична и исключительно национальна. В этом исключительном единстве — ее существо. Поэты, как говорил герой пьесы Шоу, говорят сами с собой, а мир подслушивает этот разговор. В России этот разговор подслушивали и те, кто на поэтах (точнее — на борьбе с ними) делал карьеру. Для них Вознесенский был «хлебной темой». Нынешние молодые «прогрессисты» в литературе перехватили «хлебную» эстафету. У нового поколения поэтов принято обвинять шестиде-

---

сятников-эстрадников в конформизме: «Уберите Ленина с денег...», «Лонжюмо» Вознесенского, «Казанский университет» Евтушенко, «Двести десять шагов» Рождественского... В России, как не раз замечено, чтобы повернуть направо, надо скомандовать: «Левое плечо вперед!» Однажды автор этих строк спросил ныне покойного Юрия Марковича Нагибина, отчего они, шестидесятники, так упрямо требовали возвращения к «ленинским нормам» жизни? «Мы верили, что там была правда», — последовал ответ. Русскому нельзя без правды и ее носителя. Если хотите, Ленин был для многих шестидесятников (атеистов в большинстве своем) истиной в последней инстанции, точкой отсчета на шкале бытийного существования и правдоискательства. Поэтому и стихи о Ленине у них (не все, конечно) такие искренние и истинные, попросту говоря, неврущие. С тем же феноменом мы имеем дело, читая блестящие лирические отступления из советской-рассветской поэмы Маяковского «Хорошо!» (помните: «Но землю, с которой вдвоем голодал, нельзя никогда забыть?»); пришитые суровыми нитками к своему времени, да еще зубами по стежку оды Горация и Вергилия во славу Августа, «монархические» стихи Пушкина, недописанные строки красноармейских мальчиков-поэтов, погибших на фронтах Отечественной («И задохнувшись Интернационалом, упасть ничком на высохшие травы...») — все они принадлежат Поэзии. «Лонжюмо» Вознесенского остается сильнейшей поэмой в гражданской ли-

---

рике России, своего рода эталоном стихового патриотизма: «Россия, я — твой капиллярный сосудик, мне больно, когда тебе больно, Россия».

Его «депо метафор» — продолжение лучших традиций Маяковского, Пастернака, Есенина, Олеси, Катаева. Они визуальны и неожиданны: «По гаснущим рельсам бежит паровозик, как будто сдвигают застежку на молнии»; «Купола горят глазуньями на распахнутых снегах»... Кстати, о поэме «Мастера», из которой последний пример. Ее сравнивали с поэмой Кедрина на ту же тему (не в пользу Вознесенского, конечно). Минули годы — и обе поэмы равновелико сосуществуют в нашей литературе, показывая ее необъятность и талантливость ее творцов.

За что бы ни брался Вознесенский, он делал это одержимо и талантливо, будь то изопы (изобразительная поэзия), инсталляции, витражи, плакаты... Его песни разительно отличались от рифмованных поделок стихотворцев-песенников. «Танец на барабане» или «Миллион роз» растворяли в музыке поэтическое вещество. В песнях из спектакля на Таганке «Антимиры» или из «Юноны» и «Авось» работало Слово — то самое, что было в начале... Новые времена — новые песни, новые кумиры. Пришли новые пареньки в свитерках с новыми стихами. Вместо знаковых челочек — пятичасовые щетины. А энергетика «трубадура турбогенераторов» по-прежнему неиссякаема...

---

*Олег Хлебников*

## **ОБ АНДРЕЕ ВОЗНЕСЕНСКОМ**

(«Новая газета» май 2003 г.)

### **ИХ БЫЛО ЧЕТВЕРО, НО ИСКАЛИ ВТОРОГО**

...В семидесятые я (кстати, вас там тоже видели) искал его книжки у фарцовщиков на Кузнецком мосту наряду с такими же дефицитными томиками Мандельштама и Ахматовой. И какой же радостью было наконец спрятать под полу его «Тень звука» или «Взгляд», а потом, уже в метро, открыть и прочитать:

Свисаю с вагонной площадки,  
прощайте,  
прощай, мое лето,  
пора мне,  
на даче стучат топорами,  
мой дом забивают дощатый,  
прощайте...

Что поражало (да и поражает) в этих стихах? Прежде всего — естественность того, как все это говорится стихами, даже не говорится — выдыхается, а еще почему-то и поезд видно, и осень... И как будто ты уже сам на той вагонной площадке, и печаль твоя, извините, светла.

А несколькими строфами ниже:

...мы — люди,  
мы тоже порожни,  
уходим мы,

---

так уж положено,  
из стен,  
матерей и из женщин,  
и этот порядок извечен...

Откровенно и даже смело по тем временам? Безусловно. Но дело не в этом. Вся «смелость» держится здесь на музыке сдержанной боли — лейтмотиве русской поэзии. А главная тема этой музыки — болевое осознание конечности жизни — проходит через все стихотворение («Осень в Сигулде»). Не случайно именно в нем появляются такие строчки:

«Андрей Вознесенский» — будет,  
побыть бы не словом,  
не бульдиком,  
еще на щеке твоей душной —  
«Андрюшкой»...

В общем, «Осень в Сигулде» — это «Памятник» Вознесенского. И тоже — нерукотворный.

Ну вот, я увлекся одним стихотворением, а Андрей Андреич написал стихов на много томов.

И что касается новых стихов, буквально потрясает их количество. Кажется, столько сейчас не пишет никто — не только из его ровесников, но и из племени молодых и не знакомых с вкусовыми ограничениями.

Многие упрекают его в исключительной холодной изобразительности в ущерб чувствам, даже называют его поэзию абберрацией зрения. Уверен, это заблуждение. Просто есть у Андрея Андреича стихи иронические и стихи, пред-



---

восхитившие и спародировавшие современное клиповое сознание. Они — особый жанр, который и надо судить по законам этого жанра:

РаДИОРынок беременен Диором,  
МаяКОВский беременен Яковом  
(именем первородства),  
ноВОРусские беременны  
воровством.  
Изумляя кардиологов,  
мчится черный «ситроен»,  
как футляр аккордеона.  
В нем скрывается Карден...

Тем же, кто этих законов не желает понимать, — вот, пожалуйста, эпиграмма. «Классицисту» называется:

Всегда с лицом пирамидона  
глядите тухло-глубоко.  
У Рафаэлевой Мадонны  
от вас свернется молоко.

Вознесенский вслед за своим тезкой Синявским мог бы повторить, что у него с советской властью были разногласия эстетические. Но именно этих разногласий власть не прощает: ах, с ней даже не хотят говорить на ее родном суконном языке! Возмутительно! Думаю, в этом и была главная причина, почему на знаменитой кремлевской проработке творческой интеллигенции Хрущев топал ногами именно на него, Вознесенского.

Да и «исправлялся» тот потом, написав поэму о Ленине «Лонжюмо», как-то неправильно, сплошные метафоры, а где настоящее чувство?

---

По гаснущим рельсам бежит  
паровозик,  
как будто сдвигают застежку  
на молнии... И т.п.

Потом Вознесенскому позволили быть. В жвачно-вегетарианские брежневские времена один такой театр, как «Таганка», и один такой «авангардист», как Вознесенский, были даже нужны. Чтоб иностранным послам показывать и за границей демонстрировать советскую демократию и нерушимость прав человека в СССР. Поэтому сближение Вознесенского с «Таганкой» совсем не случайно. И дело не только в «Антимирах» и других, как сказали бы сейчас, проектах. Просто «встретились два одиночества», по крайней мере, эстетических.

От этого же эстетического одиночества («Пошли мне, Господь, второго,/ чтоб вытянул петь со мной») — отчетливое желание Вознесенского обосновать и утвердить свою школу.

Кого только он в нее не принимал! Петр Вегин, Александр Ткаченко, Алексей Прийма, Алексей Парщиков, Нина Искренко... Дошло аж до К. Кедрова. Увы, учителя в этой школе никто не превзошел и, значит, «второй» не появился.

Тогда Андрей Андреич переосмыслил — в христианских координатах — значение этого «второго» и, кажется, решил, что и слава Создателю, коль не появился. Во всяком случае, он написал свою вторую поэму-рок-оперу в том числе и об этом.

Ну а первая и единственная по-настоящему

---

удавшаяся советская рок-опера — «Юнона и Авось» — тоже, как известно, его (хотя и соавторы этого суперхита — Алексей Рыбников и Марк Захаров — дай бог каждому!)

В общем, Вознесенскому повезло (как, с точки зрения булгаковского персонажа из «Мастера...» поэта Рюхина, Пушкину?): и во время он попал самое поэтическое: шестидесятые-детсадные — и если не эстетически, то хотя бы физически был в нем не один («Нас много, нас, может быть, четверо...»), — и «Таганку» с Любимовым встретил, и «Ленком» с Захаровым, ну и, наверно, главное — Пастернак его благословил еще мальчишкой.

Но давайте разберемся. Хотя шестидесятые во многом «сделали» Вознесенского, он ведь тоже во многом «сделал» такие шестидесятые. И кому повезло больше от встречи: «Таганке» или ему, ему или «Ленкому», — тоже вопрос.

Что же касается подаренной в отрочестве дружбы с Пастернаком... Этот долг Андрей Андреич, по-моему, старается отдать всю жизнь. Не только пытаясь создать «школу», но и принимая у себя в Переделкине, выслушивая и даже благословляя совсем порой неумелых стихотворцев.

...А в разгар перестройки Андрея Андреича посетила такая простая мысль: вот они-то с Евтушенко и Ахмадулиной в свое время получили возможность покорять Запад, а нынешние молодые — увы, в то же время перестройка уже открыла границы... И он поспособствовал поездке в Данию первой советской делегации, где наряду с мэтрами (кроме него были Ахмадулина и Битов) присутствовали тогдашние «молодые» — Иван Жданов, Марина Кудимова, Алек-

---

сей Парщиков и, что называется, ваш покорный слуга. Всем нам в Дании издали книжки — первые на нерусском языке, все выступления — в театрах и университетах — вел глава делегации Вознесенский.

Так что спасибо, Андрей Андреич!

Да, именно там, в Дании, я увидел собственными глазами, как Вознесенский покоряет Европу.

После выступления удивительно темпераментного бурундийского ансамбля африканской песни и пляски на сцену вышел наш поэт. Весь в белом пиджаке с кровавым подбоем, он воздел руки горе и почти так же громко, как били в там-тамы милые бурундийцы, прокричал: «Я — Гойя!» Датская королева тут же захлопала — то ли потому что знала Гойю с хорошей стороны, то ли была поражена неожиданным темпераментом посланца загадочной северной страны, где по улицам по колено в снегу ходят белые медведи, а за белый пиджак еще недавно могли отправить в страшную Сибирь.

В общем, у Андрея Андреича случился на родине Гамлета очередной полный успех.

Хотя я не причисляю себя к школе Вознесенского (как, впрочем, и ни к каким «измам»), сейчас, накануне 70-летия поэта, хочется закончить эти заметки поздравлением на его языке:

АВе, Андрей Вознесенский!

Арифметика бестолкова:

вас было четверо,

как известно,

находили третьего,

но искали второго.

## ПОЭТ И ОЗА



*Вознесенскому невероятно повезло — он встретил второго, а точнее, — вторую.*



Трудна судьба муз в России. Людская молва не любит их, видно, ревнуя к своим кумирам. «Нас на бабу променял». Есть целая литература, разоблачающая Наталью Николаевну Гончарову, — и «близорукая», и «холодная красавица». Но поэты пренебрегают советами потомков. Они выбрали своих муз сами. И завещали нам защищать их.

Муз смущают смотрины непосвященных. Самое близкое — не для прозы. Их свет сохранился в стихах, которые они мне подарили.

Ныне в юбилеях столетий художников века мы невзначай забываем об их вдохновительницах. Женщина рождает стихотворение, поэт только крестит его духовно.



---

*Сама Оза рассказывает о своей встрече с поэтом так:*

Кажется, мы встретились впервые в Доме творчества Переделкино, куда я часто ныряла из дома, чтобы посочинять. Однажды Андрей зашел в мою комнату, произнеся: «У меня будет на днях вечер, здесь, неподалеку — приходите, я буду читать для вас». После этого вечера начались странности, он посылал мне какие-то смешные игрушки, сувенирные отпечатки его стихов, как-то вдруг принес клетку с двумя крошечными попугаями-неразлучниками, сказав — «это мой талисман — нас никто не разлучит». Через несколько дней меня попросил прийти к нему в комнату М. Светлов, уже тяжело больной. «Зоя. Я не могу подняться к вам в комнату на 2-ой этаж, но хочу сказать — вас любит Вознесенский». Мне было смешно, я хорошо знала приметы внезапных увлечений поэтов. «Не улыбайтесь, — сказал Светлов, — это очень серьезно. Поэты иногда, не встречая взаимности, ведут себя непредсказуемо. Поверьте моему глазу, это очень серьезно».

Потом случился Хрущев, я почти трагически переживала ужасающую несправедливость, происшедшую с Андреем. Однажды он позвонил и сказал: «Меня собираются посадить, заведи мои книжки себе домой». Я возмутилась — «если ты хочешь, я, конечно, заберу, но могу поклясться — они этого сделать не посмеют, ведь Никита протянул тебе руку, сказав «работайте». Вдруг он поинтересуется, как это ты работаешь — а тебя нет?» Книжки он не привез... Вскоре появилась поэма «ОЗА».

---

## ОЗА

Тетрадь, найденная  
в тумбочке дубненской гостиницы

Поэма

\* \* \*

*Аве, Оза. Ночь или жилье,  
псы ли воют, слизывая слезы,  
слушаю дыхание Твое.  
Аве, Оза...*

*Оробело, как вступают в озеро,  
разве знал я, циник и паяц,  
что любовь — великая боязнь?  
Аве, Оза...*

*Страшно — как сейчас тебе одной?  
Но страшнее — если кто-то возле.  
Черт тебя сподобил красотой!  
Аве, Оза!*

*Вы, микробы, люди, паровозы,  
умоляю — бережнее с нею.  
Дай тебе не введать потрясений.  
Аве, Оза...*

*Противоположности светло.  
Дай возьму всю боль твою и горечь.  
Умагнита я — печальный полюс,  
ты же — светлый. Пусть тебе светло.*

---

*Дай тебе не ведать, как грущу.  
Я тебя не огорчу собою.  
Даже смертью не беспокою.  
Даже жизнью не отягощу.*

*Аве, Оза...*

I

Женщина стоит у циклотрона —  
стройно,  
не отстегнув браслетки,  
вся изменяясь смутно,  
с нами она — и нет ее,  
прислушивается к чему-то,  
тает, ну как дыхание,  
так за нее мне боязно!  
Поздно ведь будет, поздно!  
Рядышком с кадыками

атомного циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из частиц,  
как радуги из светящихся пылинок  
или фразы из букв.  
Стоит изменить порядок, и наш  
смысл меняется.  
Говорили ей, — не ходи в зону!  
а она...

«Зоя, — кричу я, — Зоя!..»  
Но она не слышит. Она ничего не понимает.

***Может, ее называют Оза?***



---

## II

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая, изменяли очертания, как лампочки иллюминации на Центральном телеграфе.

Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем же.

И нос был на месте, только вставлен внутрь, точно полный чехол кинжала. Неумещающийся кончик торчал из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера, зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами. Они чуть погромыхивали от ветра, вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный сноп прожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины.

Из трех облачков шел дождь. Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх).

Ну и рокировочка! На месте ладьи Генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого. На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За индустриальной революцией следовало нашествие Батыя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику. Их разбирали и собирали. Выходили обновленными.

---

У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларинголога. «Счастличик, — утешали его. — Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу. «Сердце забыли положить, сердце!» Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно. Экспериментщик Ъ пел, пританцовывая.

«Е9-Д4, — бормотал экспериментщик. — О, таинство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия? Будут роботы. Психика — это комбинация аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум сохранял полный порядок. Его члены сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

---

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новому искусству!» — призывал докладчик. Все соглашались.

Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новому искусству!») торчала вверх на манер десяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалипсический знак, горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!» Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над, а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

*Может, ее называют Оза?*

### III

Ты мне снишься под утро,  
как ты, милая, снишься!..

Почему-то под дулами,  
наведенными снизу.

Ты летишь Подмосковьем,  
хороша до озноба,

---

вся твоя маскировка —  
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны  
наведенным патроном,  
30 метров озона —  
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,  
где полет безутешен,  
но пахнуло полетом,  
и — уже не удержишь.

Дай мне, Господи, крыльев  
не для славы красивой —  
чтобы только прикрыть ее  
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется  
этой дуре рискованной,  
хоть секунду — раскованно.  
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье  
в доме с умным сынишкой.  
Наяву ли сейчас ты?  
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,  
в шумном счастье заверчена,  
до утра? поутру ли?  
за секунду до пули.

---

#### IV

А может, милый друг, мы впрямь  
сентиментальны?

И душу удалят, как вредные миндалины?

Ужели и хорей, серебряный флейтист,  
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?  
Аминь?

Но почему ж тогда, заполнив Лужники,  
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?  
И радостно и робко в нас души расцветают..  
Роботы,

роботы,

роботы

речь мою прерывают.

Толпами автоматы  
топают к автоматам,  
сунут жетон оплаты,  
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда,  
в оффисы-вагонетки,  
есть только брутто, нетто —  
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:  
к нему забежала горничная..  
Утром вздохнула горестно, —  
мол, так и не поговорили!

---

Ангел, об чем претензии?  
Провинциалочка некая!  
Сказки хотелось, песни?  
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится  
пойманной партизанкою?  
Сердце, нам безработица.  
В мире — роботизация.

Ужас! Мама,  
роди меня обратно!..

Обратно — к истокам неслись реки.  
Обратно — от финиша к старту задним  
ходом неслись мотоциклисты.

Баобабы на глазах, худея, превращались  
в прутики саженцев — обратно!

Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев  
прожженную дырочку на рубашке, юркнула в  
ствол маузера 4-03986, а тот, свернувшись улит-  
кой, нырнул в ящик стола...

...Твой отец историк. Он говорит, что человечество  
имеет обратный возраст. Оно идет от старости к  
молодости.

Хотя бы Средневековье. Старость. Морщинистые  
стены инквизиции.

Потом Ренессанс — бабье лето человечества. Это  
как женщина, красивая, все познавшая, пирует  
среди зрелых плодов и тел.

---

Не будем перечислять надежд, измен, приключений  
XVIII века, задумчивой беременности XIX..

А начало XX века — бешеный ритм революции!..

«Мы — первая любовь земли...»

«Я думаю о будущем, — продолжает историк, — когда все мечты осуществляются. Техника в добрых руках добра. Бояться техники? Что же, назад в пещеру?..»

Он седой и румяный. Ему улыбаются дети и собаки.

## V

А не махнуть ли на море?

## VI

В час отлива возле чайной

я лежал в ночи печальной,

говорил друзьям об Озе и величье бытия,

но внезапно черный ворон

примешался к разговорам,

вспыхнув синими очами,

он сказал: «А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,

человеком вам родиться б,

счастье высшее трудиться,

полпланеты раскроя...»

Он сказал: «А на фига?!»

---

«Будешь ты, — великий ментор,  
бог машин, экспериментов,  
будешь бронзой монументов  
знаменит во все края...»

Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,  
ты настроишь агрегатов,  
демократией заменишь  
короля и холуя...»

Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь  
спать в заброшенной избушке,  
утром пальчики девичьи  
будут класть на губы вишни,  
глушь такая, что не слышна  
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Все — мура,  
раб стандарта, царь природы,  
ты свободен без свободы,  
ты летишь в автомашине,  
но машина — без руля...»

Оза, Роза ли, стервоза —  
как скучны метаморфозы,  
в ящик рано или поздно...

Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,  
что живем не чтоб подохнуть, —



---

чтоб губами тронуть чудо  
поцелуя и ручья!  
Чудо жить — необъяснимо.  
Кто не жил — что спорить с ними?!

Можно бы — да на фига?

## VII

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И не важно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне.

Кто-то сдуру воткнул на приморской набережной два ртутных фонаря. Мы идем навстречу. Ты от одного, я от другого. Два света бьют нам в спину.

И прежде, чем встречаются наши руки, сливаются наши тени — живые, теплые, окруженные мертвой белизной.

Мне кажется, что ты все время идешь навстречу!

Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами прошлое, как рюкзак, за тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков будущего! Ты резка, искренна. Ты поразительно невежественна. Прошлое для тебя еще может измениться и наступать. «Наполеон, — говорю я, — был выдающийся государственный деятель». Ты отвечаешь: «Посмотрим!»

---

Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.  
«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты. У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у тебя из левой туфельки не вытряхнулась сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не носят. «Еще не носят», — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты никогда не разглядела майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне. Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то ерзаешь. «Ну, что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь, как на иностранном языке: «Я получила большое эстетическое удовольствие!

А раньше я тебя боялась... А о чем ты думаешь?..»

***Может, ее называют Оза?***

## VIII

Выйду ли к парку, в море ль плыву —  
туфелек пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,  
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,  
вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,  
вытерлось золото фирменных знаков...

---

Красные голуби просо клюют.  
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — тифлек пара,  
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.  
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..

...В мире металла, на черной планете,  
сентиментальные тифельки эти,  
как перед танком присели голубки —  
нежные тифельки в форме скорлупки!

.....

## IX

Друг белокурый, что я натворил!  
Тебя не опечалят строки эти?  
Предполагая

    подарить бессмертье,  
выходит, я погибель подарил.

Фельдфебель, олимпийский эгоист,  
какой кретин скатился до приказа:  
«Остановись, мгновенье. Ты — прекрасно»?!  
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?  
Что наша жизнь?

    Взаимопревращенье.  
Бессмертье ж — прекращенное движенье,  
как вырезан из ленты кинокадр.

---

Бессмертье — как зверинец меж людей.  
В нем тонут Анна, Оза, Беатриче..  
И каждый может, гогоча и тыча,  
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть — не видеться с тобой,  
какая грусть — увидеться в толкучке,  
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,  
касается тебя, — какая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.  
Ну, а в душе кровавые мозоли?  
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,  
жует бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решетку строк..  
Но кровь к вискам бросается, задохшись,  
когда живой, как бабочка в ладошке,  
из телефона бьется голосок..

#### ОТ АВТОРА И КОЕ-ЧТО ДРУГОЕ

Люблю я Дубну. Там мои друзья.  
Березы там растут сквозь тротуары.  
И так же независимы и талы  
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.  
И, может, потому не дам я дуба —  
мою судьбу оберегает Дубна,  
как берегу я свет ее берез.

---

Я чем-то существую ради них.  
Там я нашел в гостинице дневник.

Не к первому попала мне тетрадь:  
ее командировщики листали,

острили на полях ее устало  
и засыпали, силясь разобрать.

Вот чей-то почерк: «Автор-абстрактивист»!  
А снизу красным: «Сам туда катись!»  
«Может, автор сам из тех, кто  
тешит публику подтекстом?»

«Брось искать подтекст, задрыга!  
ты смотришь в книгу —  
видишь фигу».

Оставим эти мудрости, дневник.  
Хватает комментариев без них.

\* \* \*

*...А дальше запись лекций начиналась,  
мир цифр и чей-то профиль машинальный.  
Здесь реализмом трудно потрястись —  
не Репин был наш бедный портретист.*

*А после были вырваны листы.  
Наверно, мой упившийся предшественник,  
где про любовь рванул, что посущественней...  
А следующей фразой было:*

ТЫ

---

## Х

Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения в ресторане «Берлин». Зеркало там на потолке.

Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали гости. В центре потолка нежный, как вымя, висел розовый торт с воткнутыми свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегантные черные розетки костюмов, сияли лысины и прически. Лиц не было видно. У одного лысина была маленькая, как дырка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами.

У другого она была прозрачна, как спелые яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли (две черные и одна светлая — незрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в копилках.

Затылок брюнетки с приклепленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?»

«Министра, может, ждут?», «А может, помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим. Изящные денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об меня, царапают вилками.

---

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то этакоего! Поближе к жизни, не от мира сего... чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее, опускается, как спускают трап с вертолета). Голос его странен, как бы антимирен ему.

#### МОЛИТВА

*Мать Владимирская, единственная,  
первой молитвой — молитвой последнею —  
я умоляю —*

*стань нашей посредницей.*

*Неумолимы зрачки Ее льдистые.*

*Я не кощунствую — просто нет силы,  
Жизнь заberi и успехи минутные,  
наихрустальнейший голос в России —  
мне ни к чему это!*

*Видишь — лежу — почернел как кикимора.  
Все безысходно...*

*Осталось одно лишь —  
грохнись ей в ноги,*

*Мать Владимирская,  
может, умолишь, может, умолишь...*

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом лице, как на тарелке, горел нос, точно болгарский перец.

Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!» Слово берет следующий поэт. Он пьян вдребези-

---

ну. Он свисает с потолка вниз головой и просы-  
хает, как полотенце. Только несколько слов мож-  
но разобрать из его бормотанья:

*— Заонежье. Тает теплоход.  
Дай мне погрузиться в твое озеро.  
До сих пор вся жизнь моя —  
Предозье.  
Не дай бог — в Заозье занесет...*

Все замолкают.

Слово берет тамада Ъ.

Он раскачивается вниз головой, как длинный ма-  
ятник. «Тост за новорожденную». Голос его, как  
из репродуктора, разносится с потолка ресто-  
рана. «За ее новое рождение, и я, как крест-  
ный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто  
не знает.)

Как это все напоминает что-то! И под этим подве-  
шенным миром внизу расположился второй,  
наоборотный, со своим поэтом, со своим тама-  
дой Ъ. Они едва не касаются затылками друг  
друга, симметричные, как песочные часы. Но  
что это? Где я? В каком идиотском измерении?  
Что это за потолочно-зеркальная реальность??  
Что за наоборотная страна?!

Ты-то как попала сюда?

Еще мгновение, и все сорвется вниз, вдребезги, как  
капли с карниза!

Надо что-то делать, разморозить тебя, разбить это  
зеркало, вернуть тебя в твой мир, твою страну,



---

страну естественности, чувства — где ольха, теплоходы, где доброе зеркало Онежского озера...  
Помнишь?

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный классик с ужасом смотрит на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим, а бутерброд реален! Он передвигается по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу. Слух моментально пронизывает головы, как бусы на нитке.

Красные змеи языков ввинчиваются в уши соседей.

Все глядят на бутерброд.

«А нас килькой кормят!» — вопит классик.

Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат меня, кто же выручит тебя, кто же разобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку пола. Рядом со мной, за стулом, стоит пара туфельек. Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой.

(Как все напоминает что-то!) Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится по мне. Подошвы! Подошвы! Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам. Чьи-то каблочки, подобно швейной машинке, прошивают мне кожу на лице. Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все.

Роботы! Роботы! Роботы!

---

Как ты, милая, снишься!

«Так как же зовут новорожденную?» — надывается  
тамада.

«Зоя! — ору я. — Зоя!»

*А может, ее называют Оза?*

## XI

Знаешь, Зоя, теперь — без трепа.  
Разбегаются наши тропы.  
Стоит им пойти стороною,  
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,  
помнишь Дубну, и ты играешь.  
Оборачиваешься от клавиш.  
И лицо твое опустело.

Что-то в нем приостановилось  
И с тех пор невозстановимо.

Всяко было — и дождь и радуги,  
горизонт мне являл немилость.  
Изменяли друзья злорадно.  
Сам себе надоед, зараза.  
Только ты не переменялась.

Зоя, помнишь, пора иная?  
Зал, взбесившийся как свиарня...  
Если жив я назло всем слухам,  
в том вина твоя иль заслуга.

---

Когда беды меня окуривали,  
я, как в воду, нырял под Ригу,  
сквозь соломинку белокурую  
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,  
а сближают, как провода,  
непростительнее, когда  
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,  
то на черта мне жизнь без боли?  
Или, может, беда блуждает  
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.  
Что б ни выпало претерпеть,  
для меня важнейшее самое —  
как тебя уберечь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?  
И из лет  
очертанья, что были нами,  
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее  
нам пора... Вернемся к поэме.

## ХII

Экспериментщик, чертова перечница,  
изобрел агрегат ядерный.



---

Смертны техники и державы,  
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,  
словно свет звезды, что ушла, —  
продолжающееся сияние,  
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,  
и неважно в каком бору,  
важно жить, как леса хрустальны  
после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник.  
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!  
Помню Дубну, снега с кострами.  
Были пальцы от лыж красны.  
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?»

Та, физик давняя?  
До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло,  
ты глядишь свежо и светло.  
В мире солнечно и морозно.

*Прощай, Зоя.*

*Здравствуй, Оза!*

---

### XIII

Прощай, дневник, двойник души чужой,  
забытый кем-то в дубненской гостинице.  
Но почему, виски руками стиснув,  
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.  
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.  
Чудовищна ответственность касаться  
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!  
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,  
придет хозяин на твой зов щенячий.  
Я ничего в тебе не изменил,  
лишь только имя Зоей заменил.

### XIV

НА КРЫЛЬЦЕ,  
ОЧИЩАЯ ЛЫЖИ ОТ СНЕГА,  
Я ПОДНЯЛ ГОЛОВУ.

ШЕЛ САМОЛЕТ.  
И ЗА НИМ

НА НЕИЗМЕННОМ РАССТОЯНИИ  
ЛЕТЕЛ ОТСТАВШИЙ ЗВУК,  
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, КАК ПРИЦЕП  
НА БУКСИРЕ.

*Дубна — Одесса  
Март 1964 г.*

---

## ПОЭТ И ДЕНЬГИ

Блистательный Микаэл Таривердиев, для нас Мика, светский лев, загорелый красавец, которого сегодня даже зовут сексуальным символом, был кумиром интеллигентной Москвы эпохи 60-х.

Его изящная, трогательная нота пленяла среди бетонных блоков. Страстью его музыки была поэзия. Еще до знакомства со мною он написал цикл на мои стихи. А позднее, когда нас познакомила Соня Давыдова, большинство моих текстов стали его романсами. Он был деспотичен и требователен не только к певицам, которые стонали, обожая его. Мельчайшая задоринка колола его в стихах. Так, написав музыку на мои стихи «Тишины!», он не был доволен концовкой. «Тихие языки» в последней строке чем-то смущали его. Во время записи и на концертах он изводил меня, заменяя эпитет. Он пел то «желтые», то «красные», уж не помню, какие еще языки. Потом успокоился на «тихих».

Эта тихая запись оглушила меня на его похоронах. Прелестная, изысканная мелодика «Семнадцати мгновений», как конфетка в обертке шлягера, была проглочена всей страной. И может быть, кого-то исцелила.

Я был, мягко говоря, не шибко богат тогда, стрелял у знакомых. Меня не печатали, приходилось перебиваться переводами с языков народов СССР, но все уходило на застолья с переводимыми представителями народов. Именно тогда Володя Высоцкий



*Банкет после юбилея Михаила Жванецкого  
в ресторане «Максим».*

*М. Галкин, И. Чурикова, А. Пугачева, З. Богуславская,  
А. Вознесенский, М. Жванецкий. 2009 год*

помог мне продать «Золотого Дали». А может быть сам свои деньги дал на него.

Мика корил меня. «Надо писать песни. Нельзя быть целкой в бардаке», — повторил он свою любимую притказку.

— Но ведь ты уже написал песни на мои стихи...



---

— Но это не песни — это романсы, — обиделся мой друг. — Песни должны иметь коммерческую музыку и текст. Вот сейчас я пишу для сериала, где наш супершпион совершает подвиги в логове врага. Куплю яхту. Художник должен жить красиво. Родион тоже пишет песни.

Родион Щедрин был его другом-соперником. Мика страстно ревновал, когда тот поставил меня на водные лыжи. Мы крепко дружили с Майей и Родионом.

Я до головокружения люблю его 3-й концерт для фортепьяно с оркестром, с космическими вспышками в клавиатуре, люблю его фуги, когда он взлетает, нажимая на скоростные педали органа. Чего бы ни касался Родион Щедрин, он великий мастер. Он может быть одет в джинсовку, в водительскую кожанку, в литой костюм, костюм для виндсерфинга — все равно под этой суетной экипировкой просвечивает облегающая сильный торс прозодежда Мастера — консерваторский фрак, отливающий черным металлом, — звонкие латы рыцаря искусства.

Познакомила нас Лиля Юрьевна Брик. Оказалось, что русский композитор в это время замыслил «Поэторию» по моим стихам. Куски стихов моих он монтировал так же коллажно, как потом стриг фрагменты Бизе для своей «Кармен-сюиты». Я мог бы повторить на память всю его «Кармен-сюиту» с ее фантастическими «деревяшками».

«Поэторию» нашу тоже постоянно не разреша-



*С Родионом Щедриным и Майей Плисецкой*

ли к исполнению. Великие палочки Г. Рождественского, Е. Светланова, И. Гусмана, Ю. Темирканова вопросительно замирали — разрешат? не разрешат?

Одна великая балерина утверждала, что наши дирижеры не имеют яиц. «Ну, правда, у этого (она назвала знаменитое имя) — одно, у этого — два, зато у Темирканова — три!»

При первом исполнении «Поэтории» в Большом зале консерватории разрешающий телефонный звонок последовал всего за несколько секунд до звонка в зрительном зале. Еще бы! Щедрин в «Поэторию»

---

ввел церковные колокола, «Мать Божию», хоры. Лет за 20 до разрешения торжеств тысячелетия Крещения Руси свел песнопение с концертной музыкой, ввел впервые в консерваторский зал авангардную пожарную сирену — так, что публика во время репетиции ринулась к выходу, считая, что случился пожар, — а это, может быть, и было пожаром?

После эмиграции Эрнста Неизвестного имя его было запрещено, но Щедрин оставил стихи о нем в «Поэтории», дуруя голову начальству, что речь идет о неизвестном лейтенанте Эрнсте. Публика все понимала. Бостонский фестиваль пригласил на исполнение Эрнста как героя «Поэтории».

В тяжелые дни, когда имя мое было не принято упоминать, Родион демонстративно процитировал мои стихи в съездовском докладе.

Когда Таривердиев стал действующим Секретарем Союза композиторов при Щедрине, он сделал это во имя святого — для того, чтобы побороть завистников и ретроградов. Все искупала беззащитная трогательная нота его!

«Надо писать песни».

Я пал. Как-то на пари я написал для Раймонда Паулса песенку «Барабан». Элегантный, потрясающе-мелодичный Паулс тогда был безумно популярен, и песня в исполнении Н. Гнатюка мгновенно стала шлягером.

Я проснулся утром и услышал шуршание за окном. Это был шорох не листьев, это шелестели ку-



*На юбилейном вечере с Зоей, И. Чуриковой,  
Н.И. Ельциной, Г. Панфиловым*

пюры. Во всех ресторанах страны играли «Барабан». В матрасе и подушках шуршали купюры...

Тогда тутошние композиторы страшно обиделись. Какой-то Паулс, наглый латыш, отнимает у них авторские! Обидевшись, пошли жаловаться председателю Гостелерадио С.Г. Лапину. Тот был человек жесткий, хотя и рафинированно образованный.

Пришедшие выдвинули против Паулса обвинение: «Коварный прибалт совершил идеологическую диверсию. Он замаскировал в песне «Барабан» мелодию... гимна Израиля!!» В составе группы ходоков

---

были люди разных национальностей. Но доходы — это святое. Один из композиторов умел играть на рояле. Он и сыграл Лапину, умело и остроумно передернув мотивчик этой песни в израильский гимн. Ничего общего у этих мелодий не было, но никто не знал гимна Израиля, думаю, и Лапин тоже. Но тогда Израиль был главный идеологический враг. Все от ужаса оцепенели. Песня была немедленно запрещена по всей стране. Интересно, что те же люди потом пытались запретить «Юнону и Авось», но теперь уже за мотивы христианства.

Тут мы с Раймондом обиделись и назло врагам, и на радость народам сотворили «Миллион алых роз». Благо у меня были подобные стихи, а у Паулса прелестная мелодия. Мы отдали эти розы победоносной Алле Пугачевой.

После «Роз» я перестал писать песни. Попробовав себя и в этом жанре, как в спорте, достиг результата, а дальше стало скучно. И хотя часто берут мои стихи и кладут на музыку в спектаклях, фильмах или песнях, как случилось со стихотворением «Плечет девочка в автомате», но делают это без меня.

## ПОЭТ И АВОСЬ

Работая над рок-оперой «Юнона и Авось», я понял, как каторжно работать с театром. А началось с того, что Марк Захаров пытался увлечь меня сделать оперу по «Слову о полку Игореве». Вместо это-

---

го я дал ему прочесть мою поэму «Авось», о любви сорокадвухлетнего графа Резанова к шестнадцатилетней Кончите. Долго выбирали композитора. Счастливым выбор Захарова пал на Алексея Рыбникова. Мощная музыка соединяла обрядовые мотивы и Достоевский «рок». Название «рок-опера» было запрещено, тогда мы написали: «современная опера».

Пришлось вписывать целые арии и сцены, включая уже написанные стихи. Блистательны были Николай Караченцов, Александр Абдулов и Елена Шанина, первая исполнительница героини. Конечно, оперу должны были не разрешить. Виной были политические параллели, Америка, Россия, христианские мотивы, секс, рок и прочая чушь. Да еще Казанская Богоматерь пела при помощи ультразвука! Казалось, тщетна была помощь Щедрина, Солоухина и других авторитетов. Может быть, нашими союзниками были дети из высших сфер? А может, помощь пришла из сфер высочайших — самой Казанской Божьей Матери.

— Андрей, у меня на примете есть еще кое-кто, который может помочь, — сказал неуверенно Захаров.

— Поехали!

Такси затормозило у Елоховского собора, «Зайдем», — предложил Марк Мы поставили свечи у иконы нашей героини — Казанской Божьей Матери, Я купил три образка нашей Матери-заступницы. И отвез их Караченцову и Шаниной.

---

Наутро оперу разрешили.

Может быть, Марк ночью и звонил кому-то. Но, как писал поэт: «Какое здесь раздолье вере».

Смысл оперы сам меняется со временем. Вначале зрителям виделись сталинские лагеря, афганские гробы, летящие по небу, невыездные, стремящиеся в Америку, запретные секс и любовь. А теперь Караченцов играет нового русского, вылезавшего на за- океанский берег.

Будучи в Париже, я упомянул Пьеру Кардену об опере, прокрутил пленку — тот был покорен. Ленком был невыездной тогда. Не только подпольные рокеры, но и большинство лидеров труппы — хотя бы «растленный» Абдулов. Но Карден обратился прямо к Андропову, всех сразу выпустили. Может быть, опять это было заступничество Богоматери.

Париж был покорен стихийным темпераментом Караченцова. В театр «Эспас-Карден», построенный Карденом когда-то для Жанны Моро, слеталась мировая элита. Ресторан «Максим» в Париже стал нашей столовкой.

Когда-то Карден, устроивший мой поэтический вечер, пригласил меня встретить Новый год в его «Максиме».

— Но у меня нет смокинга, Пьер.

— У вас есть смокинг.

Вороное сияние одело мои плечи. Но где дома, в Москве, напялишь смокинг? Лишь однажды я надел его с джинсами на вечеринку.

---

Через пару лет в Париже был прием в «Максиме» после премьеры «Юноны и Авось».

— Но я не захватил смокинг из Москвы, Пьер. Второй смокинг повис на моей вешалке.

На следующий год неумный Пьер повез оперу в Нью-Йорк. Опять прием, но уже в нью-йоркском «Максиме». И опять я без смокинга. Третий бесполезный смокинг теснит мой гардероб.

Но через пять лет нашлось применение.

Американцы — снобы. Для получения своей премии они требовали быть в смокингах. Их менеджер разговаривал со мной, как с больным: «Вы видите, напротив есть магазинчик, там все наши лауреаты — и музыкант, и математик — берут напрокат смокинги. И вы можете, это недорого...» Я возмутился: «Мы в Москве ежедневно ужинаем. И непременно в смокингах». И патриотично извлек свой кардемовский прикид.

## «АВОСЬ!»

*Поэма*

### ОПИСАНИЕ

в сентиментальных документах, стихах и молитвах славных злоключений Действительного Камер-Герра НИКОЛАЯ РЕЗАНОВА доблестных Офицеров Флота Хвастова и Довыдова, их быстрых парусников «Юнона» и «Авось», сан-францисского Коменданта Дон-Хосе Дарио Аргуэльо, любезной дочери его КОНЧИ с прило-



---

жением карты странствий необычайных. «Но здесь должен я Вашему Сиятельству сделать исповедь частных моих приключений. Прекрасная Концепсия умножала день от дня ко мне вежливости, разные интересные в положении моем услуги и искренность, начали непременно заполнять пустоту в моем сердце, мы ежечасно сближались в объяснениях, которые кончились тем, что она дала мне руку свою...» *Письмо Н. Резанова Н. Румянцеву 17 июня 1806 г. (ЦГИА, ф. 13, с. 1, д. 687)* «Пусть как угодно ценят подвиг мой, но при помощи Божьей надеюсь хорошо исполнить его, мне первому из Россиян здесь бродить так сказать по ножевому острию...» *Н. Резанов — директорам русско-амер. компании 6 ноября 1805 г.* «Теперь надеюсь, что «Авось» наш в Мае на воду спущен будет...» *От Резанова же 15 февраля 1806 г. Секретно*

### ВСТУПЛЕНИЕ

«Авось» называется наша шхуна.  
Луна на волне, как сухой овес.  
Трави, Муза, пускай худо,  
но нашу веру зовут «Авось»!

«Авось» разгуляется, «Авось» вывезет,  
гармонизируется Хавос.  
На суше барщина и Фонвизины,  
а у нас весенний девиз «Авось»!



---

И за то, что дыханьем слабым  
тельный крест его запотел,  
Католичество и Православье,  
вздвев крыла, стоят у портьер.

Расшатываются устои.  
Ей шестнадцать с позавчера,  
с дня рождения удрала!  
На посту Довыдов с Хвастовым  
пьют и крестятся до утра.

## II

ХВАСТОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: О происхожденье видов?

ХВАСТОВ: Да нет...

## III

*[Молитва Кончи Аргуэльо — Богоматери]*

Плачет с сан-францисской колокольни  
барышня. Аукается с ней  
Ярославна? Нет, Кончаковна —  
Кончаковне посолоней!

«Укрепи меня, Мать-заступница,  
против родины и отца,  
государственная преступница,  
полюбила я пришлеца.

---

Полюбила за славу риска,  
в непроглядные времена  
на балконе высекла искру  
пряжка сброшенного ремня.

И за то, что учил впервые  
словесам ненашей страны,  
что как будто цветы ночные,  
распускающиеся в порыве,  
ночью пахнут, а днем — дурны.

Пособи мне, как пособила б  
баба бабе. Ах, Божья Мать,  
ты, которая не любила,  
как ты можешь меня понять?!

Как нища ты, людская вселенная,  
в боги выбравшая свои  
плод искусственного осеменения,  
дитя духа и нелюбви!

Нелюбовь в ваших сводах законочных.  
Где ж исток?  
Губернаторская дочь, Конча,  
рада я, что сын твой издох!..»

И ответила Непорочная:  
«Доченька...»

Ну а дальше мы знать не вправе,  
что там шепчут две бабы с тоской —  
одна вся в серебре, другая —  
до колен в рубашке мужской.

---

#### IV

ХВАСТОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: Как вздернуть немцев и пиитов?

ХВАСТОВ: Да нет...

ДОВЫДОВ: Что деспоты  
не создают условий для работы?

ХВАСТОВ: Да нет...

#### V

*[Молитва Резанова — Богородице]*

«Ну, что тебе надо еще от меня?

Икона прохладна. Часовня тесна.

Я музыка поля, ты музыка сада,

ну что тебе надо еще от меня?

Я был не из знати. Простая семья.

Сказала: «Ты темен» — учился латыни.

Я новые земли открыл золотые.

И это гордыни твоей не цена?

Всю жизнь загубил я во имя Твоя.

Зачем же лишаешь последней улады?

Она ж несмышленьш и малое чадо...

Ну, что тебе мало уже от меня?»

И вздрогнули ризы, окладом звеня.

И вышла усталая и без наряда.

Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.

Ну что тебе надо еще от меня?»

---

## VI

ХВАСТОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: О макси-хламидах?

ХВАСТОВ: Да нет...

ДОВЫДОВ: Дистрофично

безвластие, а власть катастрофична?

ХВАСТОВ: Да нет...

ДОВЫДОВ: Вы надулись?

Что я и крепостник и вольнодумец?

ХВАСТОВ: Да нет. О бабе, о резановской.

Вдруг нас американцы водят за нос?

ДОВЫДОВ: Мыслю, как и ты, Хвастов, —  
давить их, шлюх, без лишних слов.

ХВАСТОВ: Глядь! Дева в небе показалась,  
на облачке.

ДОВЫДОВ: Показалось...

## VII

*[Описание свадьбы, имевшей  
быть 1 апреля 1806 г.]*

«Губернатор в доказательство искренности и с слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороху ни на судне, ни на крепости, гишпанские гитары смешивались с русскими песельниками. И ежели я не мог окончить женитьбы моей, то сделал кондиционный акт...»

---

Помнишь, свадебные слуги, после радужной севрюги,  
апельсинами в вине обносили не?

как лиловый поп в битловке,  
под колокола былого,  
кольца, тесные с обновки  
с имечком на тыльной стороне, —  
нам примерил не?

а Довыдова с Хвастовым,  
в зал обеденный с восторгом  
впрыгнувших на скакуне, —  
выводили не?

а мамаша, удивившись, будто давленные вишни  
на брюссельской простыне  
озадаченной родне, —  
предъявила не?  
(лейтенантик Н.  
застрелился не)?

а когда вы шли с поклоном,  
смертно-бледная мадонна  
к фиолетовой стене  
отвернулась не?

Губернаторская дочка,  
где те гости? Ночь пуста.  
Перепутались цепочкой  
два нательные креста.

---

**АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЛУ РЕЗАНОВА Н. П.**

[Комментируют арх. крысы – игреки и иксы]

**№ 1**

«...но имя Монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его свергнут Россияне рабство чуждым народам... Государство в одном месте избавляется вредных членов, но в другом от них же получает пользу и ими города создает...»

*Н.Резанов — Н. Румянцеву*

**№ 2. Второе письмо Резанова —  
П.П. Дмитриеву**

Любезный Государь Иван Иванович Дмитриев,  
оповещаю, что достал  
тебе настойку из термитов.  
Душой я бешено устал!

Чего ищу? Чего-то свежего!  
Земли старые — старый сифилис.  
Начинают театры с вешалок.  
Начинаются царства с виселиц.  
Земли новые — табула раза.  
Расселю там новую расу —  
Третий Мир — без деньги и петли,  
ни республики, ни короны!  
Где земли золотое лоно,  
как по золоту пишут иконы,  
будут лики людей светлы.



---

Был мне сон, дурной и чудесный.

(Видно, я переел синюх.)

Да, случась при Дворе, посодействуй —  
на американочке женюсь.

ЧИН ИКС:

«А вы, Резанов,

из куртизанов!

Хихикс...»

### **№ 3. Выписка из истории гг. Довыдова и Хвастова**

Были петербуржцы — станем сыктывкарцы.

На снегу дуэльном — два костра.

Одного — на небо, другого — в карцер!

После сатисфакции — два конца!

Но пуля врезалась в пулю встречную.

Ай да Довыдов и Хвастов!

Враги вечные на братство венчаны.

И оба — к Резанову, на дальний Восток...

ЧИН ИГРЕК:

«Засечены в подпольных играх».

ЧИН ИКС:

«Но государство ценит риск».

«15 февраля 1806 г. Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х....., главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезного и любезного человека, когда в настоящих он пра-

---

вилах... В то самое время покупал я судно Юнону и сколь скоро купил, то сделал его начальником, и в то же время написал к нему Мичмана Довыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил 9 1/2 ведр французской водки и 2 1/2 ведра крепкого спирту кроме отпусков другим и, словом, спойл с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров. Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, но к счастью, что матросы всегда пьяны...»

*(Из Второго секретного письма Резанова)*

«17 июня 1806 г. Здесь видел я опыт искусства Лейтенанта Хвастова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы, и столько же удачно вышли мы из мест, каменными грядями окруженных».

*Резанов — министру коммерции*

РАПОРТ

Мы — Довыдов и Хвастов,  
оба лейтенанты.  
Прикажите — в сто стволов  
жахнем латинянам!

«Стоп, Довыдов и Хвастов!» —  
«Вы мягки, Резанов». —  
«Уезжаю, дайте штоф.  
Вас оставлю в замах».

---

В бой, Довыдов и Хвастов!  
Улетели. Рапорт:  
«Пять восточных островов  
Ваши, Император!»

«Я должен отдать справедливость искусству гг. Хвастова и Довыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их...»

«18 октября 1807 г. Когда я взошел к Капитану Бухарину, он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать меня. Ни мне, ни Лейтенанту Хвастову не позволялось выходить из дома и даже видеть лицо какого-либо смертного... Лейтенант Хвастов впал в опасную горячку.

Вот картина моего состояния! Вот награда, если не услуг, то по крайней мере желанная оказать оные. При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей сердце обливается кровью и оскорбленная столь жестоким образом честь заставляет проклинать виновника и самую жизнь.

*Мичман Довыдов.*

*(Выписка из «Донесения Мичмана Довыдова на квартире уже под политическим караулом»)*

#### **№ 4. В темнице**

ДОВЫДОВ: А что ты думаешь, Хвастов?..

ХВАСТОВ: Бухарин! Сука! Враг Христов!

Сатрап! Вор! Бабник! Педераст!

ДОВЫДОВ: Тсс... Стражник передаст...

---

ХВАСТОВ: Хрен! Скот! Мы, офицеры, страждем!  
Эй, стражник!

Нажрался паразит. Разит.

СТРАЖНИК: С-ик тран-зит...

Восток алеет. Помолись.

ХВАСТОВ (*бледнеет*): Это мысль.

О, Дева, в ризах как стеклярус!

Ты, что к Резанову являлась!

(Мы на Тебя не слали кляуз,

мы за Тебя интриговали

против американской крали.)

Спаси невинных индивидов!..

(*В ужасе.*) Гляди, Довыдов.

Распались цепи. Стража отвалилась.

Дверь отворилась.

И кони у крыльца в кибитке...

ГОЛОС: Бегите!

По трассе будущей Турксиба.

ДОВЫДОВ и ХВАСТОВ: Спасибо!

(*Бегут.*)

ДОВЫДОВ: Зер гут.

Религия не лишена основ.

А? Что ты думаешь, Хвастов?

## № 5

МНЕНИЕ КРИТИКА ЗЕТА:

От этих модернистских оборотцев  
Резанов ваш в гробу перевернется!

---

МНЕНИЕ ПОЭТА:

Перевернется — значит, оживет.  
Живи, Резанов! «Авось», вперед!

**№ 6**

ЧИН ИГРЕК:

Вот панегирик:

«Николай Резанов был прозорливым политиком.  
Живи Н. Резанов на 10 лет дольше, то, что мы называем сейчас Калифорнией и Американской Британской Колумбией, были бы русской территорией».

*Андертон (США)*

ЧИН ИКС:

Сравним, что говорит нам Головнин:

«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, заетливый, писака, говорун, имеющий голову более способную создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам, происходящим в свете...»

*Флота Капитан 2-го ранга  
и кавалер В. М. Головнин*

ЧИН ИКС:

«А вы, Резанов,  
пропили замок.  
Вот Иск».

---

## № 7. Из письма Резанова — Державину

Тут одного гишпанца угораздило  
по-своему переложить Горация.  
Понятно, что он не Державин,  
но любопытен по терзаньям:

### МОЙ ПАМЯТНИК

«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный.  
Увечный  
наш бранный разум цепляется за пирамиды,  
статуи, памятные места — тщета!  
Тыща лет больше, тыща лет меньше —  
но далее ни черта!  
Я — последний поэт цивилизации.  
Не нашей, римской, а цивилизации вообще.  
В эпоху духовного кризиса и цифиризации  
культура — позорнейшая из вещей.

Позорно знать неправду и не назвать ее,  
а, назвавши, позорно не искоренять,  
позорно похороны называть свадьбою,  
да еще кривляться на похоронах.

За эти слова меня современники удавят.  
А будущий афро-евро-американо-азиат  
с корнем выроет мой фундамент,  
и будет дыра из планеты зиять.

---

И они примутся доказывать, что слова мои были  
вздорные.  
Сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг...  
И я буду счастлив, что меня справедливо вздернули.  
Вот это будет тот еще памятник!»

### № 8

16 августа 1804 г. Я должен так же Вашему Императорскому Величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более препятствует размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь на более нежели 30-ть человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаянье, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются к деторождению неспособными».

*(Из письма Н. Резанова — Императору)*

ЧИН ИКС:

«И ты, без женщин забуревший,  
на импорт клюнул зарубежный?!  
Раскис!?!»

### № 9

«Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме родителей ея, разность религий, и впереди разлука с дочерью было для них громовым ударом».

---

Отнесите родителям выкуп  
за жену:  
макси-шубу с опушкой из выхухоля,  
фасон «бабушка-инженю».

Принесите кровать с подзорами,  
и, как зрящий сквозь землю глаз,  
принесите трубу подзорную  
под названием «унитаз»

(если глянуть в ее окуляры,  
ты увидишь сквозь шар земной  
трубы нашего полушария,  
наблюдающие за тобой),

принесите бокалы силезские  
из поющего хрусталя,  
ведешь влево — поют «Марсельезу»  
ну а вправо — «Храни короля»,

принесите три самых желания,  
что я прятал от жен и друзей,  
что утрюмо отдал на закляние  
авантюрной планиде моей!..

Принесите карты открытий,  
в дымке золота как пыльца,  
и, облив самогоном, —  
сожгите  
у надменных дверей дворца!



---

«...они прибегнули к Миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную Концепсию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению Римского Престола, и я принудил помолвить нас, на что соглашено с тем, чтоб до разрешения Папы было сие тайною».

### **№ 10**

ЧИН ИКС:

«Еще есть образ Божьей Матери,  
где на эмальке матовой  
автограф Их-с...»

«Я представлял ей край Российской посуровее и притом во всем изобильной, она была готова жить в нем...»

### **№ 11. Резанов — Конче**

Я тебе расскажу о России,  
где злодействует соловей,  
сжатый страшной любовной силой,  
как серебряный силомер.

Там храм Матери Чудотворной.  
От стены наклонились в пруд  
белоснежные контрфорсы,  
будто лошади воду пьют.

---

Их ночная вода поила  
вкусом чуда и чабреца,  
чтоб наполнить земною силой  
утомленные небеса.

Через год мы вернемся в Россию.  
Вспыхнет золото и картечь.  
Я заставлю, чтоб согласились  
царь мой, Папа и твой отец!

### VIII

[В СЕНАТЕ]

Восхитились. Разобрались. Заклеймили.  
Разобрались. Наградили. Вознесли.  
Разобрались. Взревновали. Позабыли.  
Господи благослови!  
А Довыдова с Хвастовым посадили.

### IX

МОЛИТВА БОГОМАТЕРИ – РЕЗАНОВУ

Светлый мой, возлюбленный, студится  
тыща восемьсотая весна!  
Мать от Любви Своей Отступница,  
я перед природою грешна.

Слушая рождественские звоны,  
думаешь, я радостна была?  
О любви моей незарожденной  
похоронно бьют колокола.

---

Надругались. А о бабе позабыли.  
В честь греха в церквах горят светильни.  
Плоть не против духа, ибо дух —  
то, что возникает между двух.

Тело отпусти на покаяние!  
Мои церкви в тыщи киловатт  
загашу за счастье окаянное  
губы в табаке поцеловать!

В бабе государственность — притворство.  
Править ей державами нельзя.

К лику Николая-чудотворца  
Пририсую синие глаза.

Бог, Любовь Единая в двух лицах,  
воскреси любую из марусь...  
Николай и наглая девица,  
вам молюсь!

#### ЭПИЛОГ

Спите, милые, на шкурах росомаховых.  
Он погибнет  
в Красноярске  
через год.  
Она выбросит в пучину мертвый плод,  
станет первой сан-францисскою монахиней.

1970

---

*Андрей Ванденко*

**ИЗ ИНТЕРВЬЮ  
С АНДРЕЕМ ВОЗНЕСЕНСКИМ**

(«Комсомольская правда», 2002 г.)

Это интервью записывалось шепотом. И не потому, что мы с поэтом Вознесенским вели секретные переговоры, о которых врагам знать не положено, нет. У Андрея Андреевича проблемы со связками. Остатки былой роскоши надо беречь. Вот и в беседе со мной классик не напрягался и тихо шептал в диктофон. Я честно пытался разобраться, что же именно. Если чего-то не понял, не обессудьте. За всеми справками — к А.А.

— *Как голос, Андрей Андреевич?*

— Но вы же слышите...

— *Практически нет.*

— Да, в обычной жизни он куда-то пропадает, но стоит мне выйти на сцену... На днях выступал в Минске, а до этого был в украинском Николаеве. Такой голосина вдруг прорезался...

— *А врачи что говорят?*

— Что они скажут? Лечат от чего-то. Петь советуют: о-о, а-а... Уже пару лет это длится. Без толку пока все...

Но я о Николаеве рассказать хочу. Видите, вот афиша.

— *«Личный гость городского головы Владимира Чайки — великий поэт Андрей Вознесенский». А что? Скромненький такой текст о голове и великих, общающихся между собой...*

---

— Дело не в этом. Я впервые был в Николаеве и не знал, что это город интеллигенции. Мэр Николаева — человек незаурядный. Там же большой кораблестроительный завод. Провел в Николаеве два дня и успел написать стихи. Потом отдам их вам... Вы историю «Варяга» знаете?

— *Да, он гордо не сдается врагу.*

— Тот, о котором хочу рассказать, сдался... Город в течение нескольких лет строил огромный авианосец для Российского флота и жил этим — заказ на полмиллиарда долларов. Потом мы продали недостроенный корабль Китаю по цене металлолома — за двадцать миллионов долларов. Покупатели сказали, что оборудуют там плавучий бордель. В Китае по закону запрещены бордели на суше, только на воде. В итоге корабль мы продали, но китайцы планы изменили и все же строят могучий авианосец, равного которому нет ни у Америки, ни у России.

— *Обманули желтолицыые братья?*

— Ну конечно... И вот у меня родились стихи, как с китайского авианосца взмывают самолеты и берут курс на Николаев...

— *Пусть у Кучмы голова болит, чем их встретить. Это теперь его земля.*

— Понимаете, Николаев — русский город. Как и Харьков, и Одесса. Кстати, николаевские ученые недавно открыли, что Гомер, оказывается, там родился.

— *Да что вы? А Иисус Христос, наверное, в Одессе?*

— Зря смеетесь. Видите, мне и книжку подарили. Автор — Анатолий Золотухин, сделавший открытие

---

о Гомере. Кстати, он же установил, что Александр Пушкин тайно приезжал в Николаев. Об этом никто не знал.

— *Включая самого Александра Сергеевича?*

— Может, он догадался. Потом. Во всяком случае, мемориальная доска о пребывании великого русского поэта в Николаеве есть. Вроде бы Пушкин даже написал там две главы «Онегина».

— *Сколько полезной информации вы смогли почерпнуть в Николаеве, Андрей Андреевич! А другие поездки?*

— До Николаева я был во Франции. В сорока минутах езды от Авиньона есть замок, кажется, XVII века, принадлежавший маркизу де Саду. Пару лет назад его купил Пьер Карден, устроил там роскошный театр и пригласил меня с Зоей на спектакль, посвященный Сальвадору Дали. Знаете, это одно из самых сильных впечатлений моей жизни.

Текст и музыка построен на основе дневников художника. Играют молодые ребята, фамилий не знаю, но очень способные, талантливые. Прекрасные, необычные декорации в стиле Дали. Есть в спектакле и эротика — легкая, красивая, чистая. Спектакль начинается, когда на дворе совсем темнеет. Добавьте антураж средневекового замка и поймете, что картина в самом деле была поразительная.

— *А вы с Карденом по-прежнему поддерживаете дружеские отношения?*

— Больше двадцати лет. Недавно, к юбилею «Юноны», мы делали фильм, специально ездили к

---

Пьеру, снимали на его вилле, расположенной на Французской Ривьере. Вилла необычна тем, что в ней нет углов и прямых линий.

Даже стекла и зеркала искривлены... А познакомились мы с Карденом еще до «Юноны». Он как-то услышал мое выступление и организовал концерт в Париже.

Народу пришло столько, что провели и второй вечер... Потом уже Пьер позвал во Францию и театр Марка Захарова...

*— До сих пор носите карденовские пиджаки?*

— Не пиджаки, а смокинги... Я вам о них рассказывал? Как-то на Новый год Пьер пригласил меня в свой ресторан «Максим». Я честно сказал: «У меня нет смокинга», а он ответил: «Он у вас есть». Мне сшили самый шикарный смокинг из всех, какие только существуют. Я приехал в Москву, сходил в нем на прием в американское посольство, еще как-то выбрался на банкет, подцепив снизу джинсы. И — все, повесил в шкаф. Куда здесь надевать смокинг? Через год в Париже с блеском прошли гастроли «Ленкома» с «Юноной», после окончания которых для нас устроили прием. Мой диалог с Карденом повторился. «У меня нет смокинга, Пьер». — «Он у вас есть»... Так в моем московском гардеробе появился еще один подарок кутюрье. Спустя время мы поехали в Нью-Йорк, и, как вы понимаете, у меня стало три смокинга...

*— Комфортно чувствуете себя в обществе людей много достатка?*

---

— Это же идет из 60-х годов, когда мы были молоды, нищи, но наглы. Что мне миллиардеры, короли или президенты? Рейган беседовал со мной в Белом доме, меня принимал Пикассо, и я воспринимал это как должное... Мы учились оценивать людей не по толщине их кошельков, а по содержимому головы. Беда многих «новых русских» в том, что они стремятся заработать еще один миллион, еще, но не могут выбиться в топы. Все равно рядом будет кто-то, обладающий большей суммой...

Сейчас на днях наконец антимагерию в Женеве получили. Так что материалистом особенно быть не хочется.

— Ну да. Счастье не в деньгах и не в их количестве... Тем не менее, смотрите, у вас на окнах дачи — решетка?

— Решетка стояла и прежде, но разве она защищает? Да и что здесь брать? Решетки нам поставили после нападения ночью на дачу. Зоя — час просидела под ножом, еще двое обморозков выносили технику. От охраны мы отказались. Ценности у меня относительные. Например, вот этот кусок решетки из Ипатьевского дома. Ее мог видеть Николай Второй в минуту расстрела. Я самолично выломал решетку перед тем, как дом решили сносить. Часть отдал в музей, часть оставил у себя. Для бандитов это лишь кусок металла, как и картину приняли за «пачкотню»... А вот здесь висели миниатюрные шахматные компьютеры. Пропали. Даже не знаю когда.

— Жалеете?



---

— Неприятно, конечно, но какой смысл жалеть? Я к вещам и деньгам вообще отношусь достаточно спокойно.

— *Вы рассказывали, что раньше песни вас хорошо кормили.*

— Это в прошлом... Сейчас никто не платит. Например, какой-то Осин уже сотый раз, а то и больше исполнял свою музыку на стихи «Плачет девочка в автомате». Адвокат пытался пресечь беззаконие, тем более, что в это время я бедствовал, но так и не смог поймать певца. Когда-то сочинять для эстрады я начал исключительно ради денег. Уговорил Таривердиев: «Напиши для меня». Я и взялся из спортивного интереса. Сперва была песня «Не исчезай». Но она не очень пошла. Тогда мы с Паулсом сделали «Барабан».

— *Точно, помню! «Барабан был плох, барабанщик — бог...». Николай Гнатюк.*

— Песня моментально стала шлягером, ее запели во всех ресторанах страны. Я проснулся от шелеста купюр, они, как листья осенью, сыпались на меня, сделав за короткое время невысказанно богатым человеком. А потом композиторы решили обидеться на Паулса и пошли к Лапину, главному теленазначнику. Кто-то из обиженных сел за рояль и сыграл, слегка переизменив, мелодию «Барабана».

Получился израильский гимн. Па-ра-па-па-па... Бред полный, но Лапин испугался.

Страшно испугался! «Барабан» тут же исключили из репертуара, вычеркнули отовсюду.

---

— *И кто из вас с Паулсом оказался сионистом?*

— Наверное, оба... Мы с Раймондом в отместку написали «Миллион алых роз». К ним придраться не смогли. Песня стала хитом. Пугачева прошла с ней через Театр эстрады, «Олимпийский», «Лужники»... Дальше идти было некуда. «Миллион» до сих пор любят в Японии и регулярно присылают мне авторские.

Пишется хорошо. Век закончился, выплеснулось много энергии, надо уметь ее улавливать. Сейчас вот завершаю издание собрания сочинений.

— *Да-да, пятитомник.*

— Нет, мы решили сработать на пять с плюсом и делаем шесть томов. У меня по этому поводу строчки есть:

Добавок-том назвал я впопыхах  
«Пять с плюсом» — от всех отличен,  
неприличен, как блядь с флюсом...  
Стиль новорусский странен мне:  
Распяты с плюшем.  
Я — крестик Твой в разжатой пятерне.

Пять с плюсом...<sup>1</sup>

— *Ваше поколение распалось окончательно?*

— Время всех разводит. Сначала людей объединяет общая задача, потом в каждом начинает играть индивидуальность, и все расползаются по норам. Но с Беллой (Ахмадулиной. — А. В.) мы, например,

---

<sup>1</sup> Сейчас у А. Вознесенского вышел уже 7 том в изд. «Вагриус».

---

не распадались. Евтушенко? Он теперь преимущественно в Америке.

— *Каждое лето сидит в Переделкине, по соседству с вами!*

— Не знаю. Мне он не звонит.

— *Кошка пробежала?*

— Не могу я его понять.

— *Вы бы могли сделать первый шаг, прийти на вечер к нему.*

— Не люблю ходить незванным... Как-то выступал я в Америке в городе, где он живет, в Оклахоме. Евтушенко пришел, посидел и ушел, когда зрители принялись мне аплодировать. Гостеприимные американцы потом спрашивали: «Вы враги?»

Поколение — понятие относительное. С Витей Ерофеевым, Володей Вишневым, которые моложе меня, мы общаемся прекрасно. С Женей Поповым, Василием Аксеновым. И с двадцатилетним харьковчанином, написавшим строки: «Узнать можно русского человека по способности дважды войти в одну реку». Я всегда говорил, что поколения надо определять не горизонтально — по возрасту, а вертикально...

— *Вы когда-то так и Хрущеву ответили, а он стал орать: «Поумничай! Ты еще и рукой машешь, как Ленин. Куда нас зовешь?»*

— У меня привычка такая — ритм отбивать. Я же не актер, мимикой и жестами не владею, поэтому руками помогаю себе читать стихи.

— *И когда сочиняете, тоже машете?*

— Никогда не пишу за столом. Мне нужно хо-

---

дить. И живу за городом, где есть простор. Сначала стих должен сложиться во мне, а потом уже сажусь и переносу его на бумагу. Без всяких черновиков и набросков.

— *Почему вы почти не пишете мемуаров?*

— Вышла книжка в серии «XX век». Сейчас вот закончил повесть «Мостик». О том, как лейтенантом служил в армии в Закарпатье.

— *Это было уже после поездки в Америку и криков Хрущева в Кремле?*

— Конечно. Меня забрали на переподготовку (сборы) весьма известным человеком. Мой приезд в часть вызвал там шок. А мне все очень нравилось — форма, новые ощущения... Я затягивался офицерским ремнем и ходил по берегу реки...

— *А почему «Мостик»?*

— Это такой секс-символ. Сложно объяснить, надо прочитать... «Мостик» опубликован в последнем номере «Огонька».

— *Вам сегодня интереснее оглядываться на прошлое, чем смотреть в будущее?*

— Нет, повесть только по жанру офицерская, а фактически мысли в ней современные. Мостик — образ красивый, его можно перекинуть между берегами, в том числе между прозой и поэзией, вчера и завтра...

Вы слышали теорию, что беды России последних десятилетий связаны с тем, что мы не строили новых храмов, а только сносили их, в лучшем случае — восстанавливали разрушенные? И вот мне

---

рассказал житель городка Захарова, поэт и галерист Алексей Сосна, что в сорока километрах от Москвы в Пушкинском заповеднике есть очень удобное для строительства место. Меня увлек этот проект.

— *Уже работаете над ним?*

— Готовлюсь. Может, сделаю что-то с лентой Мёбиуса — там рядом проходит шоссе, и нужна некая внешняя защита, прикрывающая храм. Золотая луковка купола будет выглядывать из-за стены, словно предзакатное солнце. Помните? «Солнце русской поэзии закатилось». Храм-то предназначен для Пушкинского заповедника... Надеюсь, к осени будущего года работы удастся закончить. Сейчас я поставил памятник на могиле родителей на Новодевичьем кладбище: по наклонной плоскости катится огромный шар, который останавливает крестик...

— *Родители были верующими?*

— Отец нет... Мой прапрадед, Андрей Полисатов, был архимандритом, настоятелем Благовещенского муромского собора во Владимирской губернии...

— *Бываете на родине?*

— Некогда. Постоянно находятся дела. Я и в Москву из Переделкина каждый день езжу. Возвращаюсь поздно... Хочу добиться, чтобы в Москве поставили памятник великому Пастернаку. Юрий Лужков пообещал, что скоро объявят конкурс на лучший проект.

Еще вот Алексей Рыбников уговорил написать новую оперу для «Ленкома».

— *И название уже есть?*

---

Мое название «Самоубивцы»... По большому счету, это про всех нас.

— *И про вас?*

— И про меня.

— *А ваше самоубийство в чем?*

— Может, не по той дороге пошел и во мне погиб великий зодчий.

— *Сомневаюсь, что согласитесь отказаться от уже пройденного пути.*

— Наверное, все же нет... Впрочем, у меня есть шанс оставить след и в архитектуре. Сейчас вот займусь проектом строительства храма, посмотрим, что получится...

Сейчас время не бросать камни и не собирать их. Время создавать камни.

Которые мыслят.

## ПОЭТ И СЛАВА

Я — родился в Москве, но детство мое воспитала провинция Киржача и Кургана, потом я ходоком уходил искать смысл жизни в переделкинские пенаты Пастернака и провинциальный Франкфурт к Хайдеггеру.

Вероятно, провинциализм во мне панически боится «вхождения во власть». Как-то неловко руководить людьми. Я не вхожу ни в одну из редколлегий. Когда пришла делегация сватать меня депутатом в Думу, я в ужасе отказался. Не так давно без моего ве-

---

дома меня выбрали и утвердили президентом Общества «Франция — Россию». Я закатил истерику. Они очень удивились отказу. Еще веселее было, когда также против моей воли меня сделали вице-президентом РАО (Российское Авторское общество). Мне выделили шикарный кабинет и повесили вывеску под стеклом, гласившую, что я есть вице-президент. Я приехал с отверткой и, под стенания секретарш, снял табличку.

Той же отверткой я привинтил медные литеры на сосну возле моего дома. Свой дом и деревья вокруг я озвучил буквами:

СОСНАСОСНАСОСНАСОС

Мы живем в языке. Сосна — насос неба. Она перекачивает небесное в земное. И наоборот...

.....  
— К вам Ванжук приехал!

— Какой еще Ванька Жуков?

Спросонья я никак не мог врубиться.

— Андрей Андреевич, — Повторяла трубка из Иностранной комиссии Союза писателей. — Прибыл ваш гость, великий аборигенский поэт — повторяю по буквам — У-а-н-д — ж-ю-к...

Боже мой, я и забыл. Как приехал из Австралии, я пошутил Инокомиссии — почему бы вам не пригласить великого поэта по имени Уанджюк? А то всяких олдриджей приглашаете...

Я никогда не писал отчетов после поездок или докладных, я никогда не думал, что мое идиотское предложение-шутка сработает. Два года шли запро-

---

сы в посольство, инстанции выясняли все про Уанджюка. И вот он прибыл.

Его лицо лоснилось, как черное лакированное дерево, глаза сияли. Одет он был лишь в нейлоновый костюмчик. В Москве стоял морозный ноябрь. Союз писателей приготовил для гостя программу. Музей Ленина, Домик Чехова в Ялте и т.д. Но это была первая его зарубежная поездка из мира тысячелетий. Он не знал, что есть на свете Москва, а не то, что Ленин или Чехов. — Он не знает имени Ленина? Имя вождя знает все угнетенное человечество. Тут в Союзе писателей испугались и отдали Уанджюка на мое попечение.

Никто в Москве не знал аборигенского языка. Гость знал несколько слов по-английски и имя своего лучшего друга «Андрей». Я привел его ужинать в ЦДЛ. Тонкие черные пальцы аристократа брали мясо с тарелки. А через пять минут он уже уверенно, оглядевшись, оперировал ножом и вилкой. В нем были достоинство и превосходство над нами, полуграмотными в нашем суетном мире, это было превосходство тысячелетней заповедной культуры над ложью цивилизации.

Целыми днями он, закрывшись в своем номере в «Украине», дымил трубкой. Он кашлял. Я подарил ему пальто, шапку, но не только в физическом тепле было дело. Я привел его в Театр кукол.

— Что ты плачешь, Уанджюк?

— Эта музыка напоминает мне музыку моей родины.



---

Я привел его на «Лебединое озеро».

— Что ты плачешь, Уанджюк?

— Эта музыка напоминает мне музыку моей родины.

Город, самолеты, наша цивилизация оглушили его. Думаю, что, попади Наполеон в современный вертолет или Сократ — в метрополитен, они выглядели бы так же беспомощно.

Я припер его в телевизионную передачу. Через месяц я зашел в гости к композитору Арно Бабаджаняну. «Нюра, — закричал композитор домработнице. — Ты хотела поглядеть на Вознесенского. Вот он пришел». — «Нет, — подозрительно сказала Нюра. — Вознесенский — он черный». Она помнила нашу передачу с Уанджюком и влюбилась в черного поэта.

— Тебе все нравится, Уанджюк?

— Все нравится.

— А что бы тебе еще хотелось?

— Я хотел бы с тобой поохотиться и поудить рыбу.

Он кашлял. Я понял, что его надо послать в гости в жаркую Грузию, к поэту Иосифу Нонашвили.

Больше я его не видел.

Рассказывают, что когда Нонашвили привел его в свой сад, то сорвал для гостя лучшее яблоко. Уанджюк положил плод в карман. Нонашвили сорвал второе яблоко. Уанджюк положил его в карман.

— Уанджюк, у нас в Грузии такой обычай, что, если гостю дают яблоко, он его ест.

— А у нас такой обычай, что яблоко сначала моют.

---

В тбилисской гостинице «Интурист» Уанджюк встретил белокурую австралийку из Сиднея. Они трое суток не выходили из номера.

Через несколько лет делегация советского Верховного Совета прибыла в Австралию. Их повезли к вождям аборигенов.

— Аборигены, вы знаете, что такое СССР?

Молчание.

— Аборигены, вы знаете, что такое Грузин? — спросил тбилисский депутат.

Молчание.

И вдруг самый старый абориген сказал: «Я знаю Грузию, я знаю Нонашвили и Андрея».

На этом сведения об Уанджюке обрываются.

После отъезда Уанджюка неизвестность беспокоила меня, и я напечатал поэмку о нем — «Гость тысячелетий». В этой поэме абориген, отягощенный тысячелетней культурой, попадает к нам, дикарям XX века.

Вождь аборигенов Австралии,  
бронзовый, как исчезнувший майский жук,  
Марина Уанджюк  
без компаса и астролябии открыл Арбат.

Путь был опасностями чреват. Уанджюк не свалился  
с Ту-144, с Боинга-747, Уанджюк не отравился  
от портвейна «777»,  
от шуточного ерша,  
от суточного борща,  
от пельменей «по-австралийски», от  
деликатеса «холодец»... Уанджюк — молодец,



*Вознесенский и Уанджюк*

Все было бы хорошо, но далее отважный путешественник знакомится с дикарским миром социализма, полуграмотными, на его взгляд, взгляд тысячелетий, арбатскими аборигенами.

В результате появился погромный подвал в «Вечерней Москве», подписанный разгневанным маргиналом А. Жаровым. Он писал, что я оболгал москвичей, образ советского человека и т.д. Тогда я в стихи о Маяковском вставил строчки:

Все расставлено уже.  
А что до Жарова, то жаль его —  
вы на «М», а он на «Ж»...

Напечатать эти строчки не удалось, но они веселили аудиторию.

---

## ПОЭТ И ЦАРЬ

Когда Эльдар Рязанов в своем телефильме о Б.Н. Ельцине спросил президента, о каком поступке он сожалеет, тот ответил: «О взрыве Ипатьевского особняка». Недавно Эмма, жена Рязанова, в свое время бывшая редакторша комсомольского еженедельника, сказала, что именно я стал косвенной причиной уничтожения дома Ипатьевых. Она была в курсе номенклатурных идей Свердловского обкома. Дело было так. Приехав в Свердловск, ныне Екатеринбург, с группой «Литературной газеты», я на аэродроме заявил, что хочу посмотреть дом Ипатьевых. Дом был тогда закрыт для публики. Но нашелся комсомольский энтузиаст, который тайно провел меня туда. Со мной вместе были Григорий Горин, Ирина Ришина и фотограф. Подвал, где расстреливали, представлял собой каменный мешок без окон. В него вела тяжелая железная дверь с полукруглым окошечком над ней — единственным источником света. В окошке была деревянная решетка в стиле «российский модерн». Я выломал эту решетку, спрятавшись под пальто и при испуганных криках выбежал наружу... Половину решетки я отдал в Исторический музей. Половину оставил у себя.

Именно эта решетка отпечатывалась в глазах убиенных. На заседании Свердловского обкома обсуждали мое возмутительное поведение. А в кругах местной интеллигенции и молодежи мой прорыв вызвал интерес и паломничество. Чтобы не давать

---

пищу для дальнейшего ажиотажа, власти решили эту проблему одним махом — они взорвали дом.

Так что на мне лежит и этот грех.

## ПОЭТ И РОДНИК

Акварели я учился у Владимира Георгиевича Бехтеева. Небольшой, поблескивающий гномообразным черепом, по-фехтовальному спорый, дрожа страстными ноздрями крючковатого носа, художник бормотал, следя из-за моей спины, как на ватмане расплывается «по-сырому» мастерски составленный им натюрморт из ананаса, апельсинов и синего с золотом фарфора: «Гармонию не забывайте! Если в левом углу у вас синий, то он должен быть компонентом во всем. Синий вкрапливайте. Не забывайте гамму». Так же гармонично распределяется по стихотворению звукопись Цветаевой.

Шерстяной вязаный платок, в который художник кутался среди плохо отапливаемой комнаты, казался на его плечах романтическим плащом. Он всовывал ногу в соскальзывающую сандалию, как в стремя.

Когда-то кавалергардский офицер, он похитил жену своего полкового командира, умчал ее за границу и вышел в отставку. В Европе стал художником. Вернулся в Москву уже после революции — в нищету и тяготы быта. Я знал его жену и музу, готически высокую, в иссиня-гладкой прическе, которая

---

была всегда рядом в их единственной комнате, храня роковую тайну и жаря подгорающие котлеты на керосинке, как на жертвенном треножнике. Как мистическое зеркало на стене, висел в полный рост ее гуашевый портрет под вуалью в декадентской сине-лиловой гамме.

На стенах брезжили бехтеевские акварели, ташкентская серия, где краски растворялись в зыбком воздухе, теряя очертания. «Там воздух наполнен мелкой, едва заметной песчаной пылью, от этого струится некая пелена», — моргая, оправдывался он, отмечая подозрения в импрессионизме.



*С Бобом Диланом*

---

Его крепко били за импрессионизм, что было страшным ярлыком тогда. Помню разухабистую статью о его иллюстрациях к «Кукле». После этого ему перестали давать заказы в издательствах. Между тем именно в этих рисунках он поэтично воспел грациозные смычковые ноги скаковых лошадей и шеи красавиц.

Наташа Головина, лучший живописец нашего курса, как величайшую ценность, подарила мне фоторепродукцию фрагмента микеланджеловской «Ночи». Она до сих пор висит под стеклом в бывшем моем углу в родительской квартире. Эту «Ночь» я взгромоздил на фронтоном моего курсового проекта музыкального павильона.

И вот сейчас мое юношеское увлечение догнало меня, воротилось, превратясь в строки переводимых мною стихов.

Вероятно, инстинкт пластики связан со стихотворным. Известны грациозное перо Пушкина, рисунки Маяковского, Волошина, Жана Кокто. И наоборот — один известнейший наш скульптор наговорил мне на магнитофон цикл своих стихов. Прекрасны стихи Пикассо и Микеланджело. Последний наизусть знал «Божественную комедию». Данте был его духовным крестным. У Мандельштама в «Разговоре о Данте» мы читаем: «Я сравниваю, значит, я живу», — мог бы сказать Данте. Он был Декартом метафоры, ибо для нашего сознания — а где взять другое? — только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение».



*Обед с Нэнси Рейган. Переделкино*



*Андрей Вознесенский был знаком с Пабло Пикассо, Марком Шагалом, Оскаром Рабиным и многими другими великими или просто известными художниками.. Когда в 1973 году Шагал приехал в Москву, то почти сразу оказался на даче Вознесенского в Переделкино. Андрей Андреевич вспоминает об этом так: «Шагал остановился посередине дорожки, протер руки и остолбенел. “Это самый красивый пейзаж, какой я видел в мире!” — воскликнул он. Перед ним был старый покосившийся забор, бурелом, ель и заглохшая крапива». И это после стольких лет, прожитых под ярким французским небом, в изысканном особняке, среди зелени, цветов и переливов солнечного света!*





---

## ПОЭТ И УСАДЬБА

Когда снимали передачу «Мой Арбат», я, понятно, из пижонства снимался без шапки. Было морозно и красиво. Но съемки затянулись. Я застудил голову, как сказали потом врачи, окончания нервов на скальпе. Такова цена моей любви к Арбату. Она напоминает о себе при каждом включенном кондиционере.

В Кривоарбатском переулке меня всегда волнует странный особняк под номером 10. Волшебная тяга присутствует в нем. Два туманных цилиндра полуутоплены друг в друга.

Будто двое влюбленных стоят, обнявшись, во дворе, заслоненные от мира многоэтажными громадами. Она обнимает его со спины, положив голову на его плечо. Они, оцепенело прижавшись, рассматривают прохожих.

Это архитектурное стихотворение из двух слившихся строф. Над ним, как и над всякими стихами, печатным шрифтом стоит имя автора: «Константин Мельников, архитектор».

Изо всех зодчих он один, наверное, поэт в чистом виде. Он создал это стихотворение и, как поэт, жил в нем.

В плане дом составляют два переплетенных венчальных кольца, два «О», ну, прямо эмблема свадебного авто. Это всенародное объяснение автора в любви своей красавице, Анне Гавриловне, пожизненной подруге создателя.

В год моего окончания института ему клонилось к

---

семидесяти. На склоне лет он сидел в своей раковине, в поэтичном особняке, худой и отрешенный, как на троне, на стуле с высокой резной спинкой, покрытой королевской накидкой с вензелем «К», вышитым ее руками, сидел в бедственной нищете, самодержец сокровищ духа, сидел в нижней зале, увешанной драгоценными ее портретами, писанными его рукою. Как он любил ее! Как обожал касаться ее черт-глаз, пухлых губ, шеи — углем, маслом, сангиной! Белая вязаная шапочка на темени его напоминала академическую, но многим его современникам она казалась наплежкой на затылке циркача, когда тот держит на голове шест с тяжеленными акробатами. Они считали его трюкачем, но он был поэтом. Его громоздкие стихотворения под названием «Дом культуры им. Русакова», «Гараж Интуриста» можно узнать без подписи. И не случайно особняк его жизни стоит на пушкинской тропе. «Гений — парадоксов друг»...

Русский зодчий Осип Иванович Бове (по рождению итальянец Жозеф-Жан-Батист-Шарль Бове) был наряду с Иваном Леонидовым кумиром моей архитектурной юности.

Весь второй курс я «отмывал» особняк князя Гагарина на Новинском бульваре, построенный Бове в 1817 году и сторевший от немецкой бомбы в 1941 году. Шедевры невосстановимы. Как нельзя восстановить 48—47-метровых стволов лиственниц, которыми инженер Бетанкур перекрыл Манеж, как нельзя восстановить интерьеры гостиницы «Москва» со знаменитыми синими щусевскими колоннами!



### Манеж

*Справка: Манеж был построен в 1824 по проекту архитектора А. А. Монферрана и инженеров Карбонье и испанца А. А. Бетанкура. Они спроектировали и осуществили невиданное до этого безопорное перекрытие деревянными фермами с пролетом 45 м. Бове же разработал проект декоративного скульптурного убранства Манежа, использовав тему античных военных доспехов. Участник Отечественной войны, он использовал военную тему в декоре и Манежа, и многих особняков. Бове добавил Манежу торжественности и парадной выразительности, характерные для московского ампира этого времени. Оформление фасадов по проекту и под руководством Бове в 1825 г. Необычайная укрупненность пропорций, могучие пилоны, соединенные аркадами — все подчеркивает монументальность этого одного из крупнейших сооружений послепожарной Москвы... (из Интернета)*

Увы, нам придется жить среди копий. Однако надо, чтобы копии были сделаны с совершенством. Пожар Манежа дает не только ужас, но и веру.

На выставке сгоревших работ Манежа есть два полотна художницы Ян, которые не повредило пламя.

Может быть, эти два ангела на призрачных холстах спасут нас?

---

\* \* \*

В Москве, заснеженной, игровой  
был зодчий пьян —  
Манеж задумал треугольный,  
как дельтаплан.

Меж колокольных гениталий  
лети, тимпан!  
Горя краями, гениальный  
плыл дельтаплан.

В стране дрекольев, водки горькой,  
«Газелей» вместо BMW  
свою тоску по треуголке  
привнес Бове.

А может, зодчий в спинке горничной —  
ню, без одежд —  
в незагорелом треугольничке  
узнал Манеж?

И царь, не внявший «цвету расы»,  
искусств знаток,  
дерьма мешок,  
выл Геростратом: «Пидерасы!»  
Был первый, кто Манеж поджег.

Манеж подожгли. Гримасничают  
огненные языки.  
Идет на глазах кремация  
деревянной души Москвы.

---

Огонь достигает Марса.  
Шикарно горим, мужики!  
Двое уже мертвы...  
Бряцают метопы гремящие.  
Смеемся, чему, не ясно.  
Так Анна бы Монс смеялась,  
хоть нет у ней головы.  
ВЫБОРЫ. ВЫБОРЫ. ВЫ

Вычислили геростратчиков.  
Россия сошла с ума.  
В себе пережгли мы датчики  
дерьма.

Манеж подожгли. Похрустывает  
метопа над топкой кружал.  
Я еще первокурсником  
ее чертил, отмывал.

Писал стихи под Хераскова,  
был глуп и тощ, как струна.  
Метопа твоя кирасовая  
воспитывала меня.

Споткнешься в воздушной яме.  
Ну, подожди!..  
Манеж подожгли. Не прямо,  
так косвенно подожгли.

Кому-то беда случилась,  
кому — барыш.  
Россия, моя лучина,  
зачем так ярко горишь?!

---

Летят, рубя колонн канаты.  
Прорвите сеть,  
Талантливые дилетанты —  
лишь бы лететь!

Все прут, как к Бетанкуру в ощуп,  
на дельтаплан.  
Там огневеет гений — Осип,  
но Мандельштам.  
И я, отсиживая попу,  
над ватманом, пятнистым,  
как форель,  
лечу, схватившись за метопу.  
Офонарел. Farewell.

Моя работа курсовая  
Бове в пандан.  
Косым фронтоном красовался,  
я, хулиган,  
от Курской плыл до Куросавы  
мой дельтаплан.

Не обессудь, Осип Иваныч!  
Жизнь — новодел.  
Куда горящим дельтапланом  
ты отлетел?  
Загадки мы  
не разгадали.  
Оставишь ты  
на наших лицах запах гари  
и высоты.

---

Но, слава Богу, не теракты  
сюда вплелись.  
Страшной народной катаракты  
на-все-плевиизм.

Простимся с Вербным воскресеньем!  
И не восстановима Красота.  
Как не заменит  
никакое воскрешение  
живого и мучимого Христа.

Зачем Он в небе появился?  
Зачем Он крылья поменял опять.  
На христианство дельтапланериста,  
чтоб необъятное обнять?

Чудо Манежа поразительно:  
горят дотла цари, ЦК —  
доска с иконою Спасителя  
одна цела.

Жарим Мираж.  
Мы охвачены  
пеплом и дымом.  
Женам Манеж  
с утешением  
письма пошлет.  
Белые с беж  
полыхают  
дубленки ампиром.  
Жарим милашку,

---

влюбленные  
в Настю Филиппову...  
В слове Манеж  
проступает «жаме»  
— никогда!

Минута страшная молчанья —  
машин,  
деревьев, уцелевших зданий.  
И мы, мужчины, промолчим.

Смеркается. Манеж не меркнет.  
Края горят,  
как указующая стрелка:  
«Кто виноват?»

Все показанья по касательной —  
фронтон отверг —  
горящей стрелкой указательной  
он кажет — вверх.

## ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ КОЖЕЯКИНЫМ

(газета «Аргументы и факты»)

«МЫ ПЯТИМСЯ В БУДУЩЕЕ ЗАДОМ»

— Андрей Андреевич, на пожар в Манеже вы откликнулись поэмой. Там есть строки: «Кому-то беда случилась, кому — барыш. Россия, моя лучина, зачем так ярко горишь?!»...



---

— Пожар в Манеже символичен: подожгли его или нет, но в том огне сгорали наши традиции и вера. Я ходил между обугленных стен, будто Нерон, который спалил Рим: нельзя восстановить обратившиеся в прах перекрытия из гигантских лиственниц. Здания живут один раз, как и люди... Строительный бум в столице — это хорошо. Беби-бум — тоже. Москва — одна из самых чистых столиц мира. Но Манеж, гостиница «Москва» и здание Военторга стали тремя захоронениями, в которых, как в мавзолеях, таится наша история. Мы жжем сами себя. Плюс недавний пожар в Политехническом. Мы — нация самосожженцев.

*— Людей волнуют и семья, заработки, здоровье, дети. Очаг и дом.*

— Конечно, люди стараются выжить и чтобы с крыши не капало... Я отдал бы все свое искусство, чтобы мы жили, как в Голландии. Но тогда России не будет! Стихи на стадионах поэты читали только в России. Сейчас нет «стадионов», но, может, и к лучшему, если человек созерцает звезды у себя в душе, а не на большую дорогу выходит грабить.

*— Вы как-то заметили, что строка из песни Земфиры: «А у тебя СПИД, и, значит, мы умрем!» — это «слоган нашего времени». А свой слоган не подобрали?*

— Время безвременно. Суть времени — вечное его отсутствие. Мы живем по циферблату, в котором отломана часовая стрелка, да и минутная тоже. Мы — люди с секундным суетным кругозором.

---

— Вы сказали, что Нью-Йорк — интеллектуальная столица мира. А Москва — его энергетический центр. И вместе с тем вы первый в слове «Москва» увидели буквы «СКВ» (свободно конвертируемая валюта). Как это сочетается, Андрей Андреевич?

— У денег тоже есть своя энергия. Во всем идет пересчет на валюту. Это не лучший вариант для России, но с другой стороны, это космополитизм и интернациональность. Хотя мы пятимся в свое будущее задом наперед. На Западе развивают технологии, а мы обратно — к чугунке, к волчьему капитализму идем.

— К образу «Россия — казино». В какую игру сейчас играет страна? В русскую рулетку? В покер? В шахматы?

— В прятки. Причем водят все. И все с завязанными глазами.

— А почему сейчас не рождается таких стихов, как «Вы, жадною толпой стоящие у трона...»? В том числе и у вас? Есть стихи о тяжелой доле народа, о судьбе России. А про поэта и царедворцев нет. Бойтесь?

— Я вообще не из пугливых. Да и сейчас, в наше время, когда никто ничего не боится, поэзия должна быть чистой от всего. Кстати, Лермонтова пристрелили не тогда, когда он писал свою публицистику, а после того, как он коснулся Демона и написал: «Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу...»

— Вы рассказывали, что, когда 14-летним маль-

---

*чишкой пришли к Пастернаку, как к Богу, тот вышел в коридор коммуналки в старом свитере с продраным локтем. Великий поэт жил по-нищенски и в опале. В свое время на вас наорал Хрущев. А сейчас вы обласканы властью...*

— Пастернак жил скромно, но щедро — по воскресеньям для друзей у него столы ломились от коньяка и икры. Когда наш общий с ним гонитель Хрущев орал на меня: «Тоже мне, Пастернак нашелся! Антисоветчик!» — это было не просто пересечение двух линий, «царской» и поэтической. Это была высшая точка, кульминация противостояния поэзии и власти. Выше некуда! Сейчас я, когда слушаю эту пленку, удивляюсь, что у меня голос не дрожал!.. Слава богу, что уже не нужно играть с властью на ее доске ее же фигурами.

*— Но вы же сами писали: «Я — русская смута. Я — пьяная баба. Российская муза, я клеюсь у паба».*

— Поэзия меняется. Я люблю челябинца Виталия Кальпиди. Он демонстративно прагматичен, хорошо одет, в стихах — американизмы. Сам зарабатывает творчеством на жизнь и презирает неудачников. Новый тип поэта.

*— Неудачникам на Руси всегда сочувствовали. А вы им сочувствуете или относитесь, как Кальпиди?*

— В мире считают, что люди должны быть удачливы от природы. Если один сперматозоид из миллиона встретится с яйцеклеткой, ты родился — уже

---

большая удача! Нельзя терять свой шанс! Бог любит удачливых... Но к России это не относилось, поскольку национальный характер, к сожалению, подразумевал саморазрушение, жизненный крах. И это реальность, а не «достоевщина». С одной стороны, мощь и талант, а с другой — то, что сидит внутри, как alien, «чужой», а потом вылезает наружу и рушит все, что уже достигнуто.

— *Вы часто бываете за границей, участвуете в светских тусовках. Говорят: «Вознесенский обуржуазился!» Это правда? Как вы относитесь к буржуазии?*

— Такого мне еще «не шили» никакие «Шариковы» с шариковыми авторучками. Декадентом обзывали, врагом народа, формалистом. В этом смысле вы — новатор... «Буржуазия», «пролетариат» — это вообще все марксистская феня, прошлогодний снег. Классов нет, есть люди. Сейчас все настолько перемешано!.. Но если говорить о мире прошлого, когда была буржуазия, то я отношусь к ней, как и поэты Серебряного века — «И с ненавистью, и с любовью». Так Блок говорил.

— *Ваша фраза: «Поэт должен разделять иллюзии своего народа». Какие иллюзии разделили вы?*

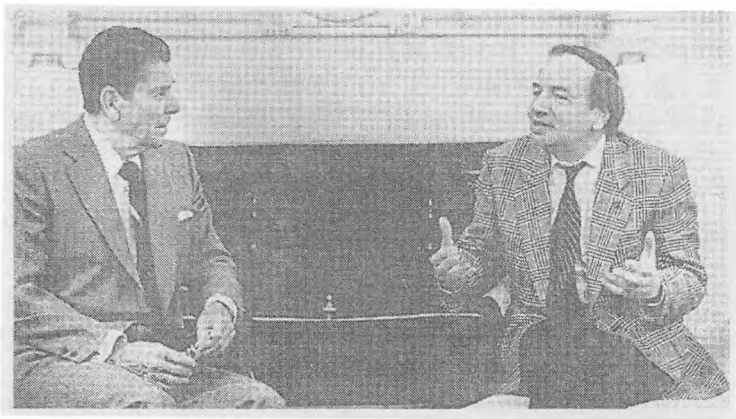
— Главная ошибка, что я не знал народа, его криминогенной сути. Считал, что если езжу по стране и читаю стихи, то знаю людей. Я читал студентам, интеллигентам. Это был другой народ. А потом поперла темная сила — криминал, и я понял, что, может, ошибся.

---

— У вас нет ощущения, что поэзия, которой жило, по крайней мере, два поколения, — ваша, Евтушенко, Ахмадулиной, уходит вместе с эпохой? Есть такое понятие — «уходящая натура»...

— Уходят натурщики, а с них написанные шедевры остаются. И потом, настоящий поэт не может быть «поэтом поколения». Блок — поэт какого поколения? А Пастернак? Я вообще не думаю об этом. Я просто пишу... Молодежь пылко следует традициям. Традициям хулиганской культуры Маяковского, Есенина, Оскара Уайльда и Приблудного. Недавно в Москве на торжественном вручении Пастернаковской премии один молодой поэт и лауреат набросился с кулаками на редактора одного известного литературного журнала!

— И все-таки вы не чувствуете себя забытым в связи с тем, что тиражи упали?



*В Овальном зале Белого Дома с Рональдом Рейганом*

---

— Когда полосы моих стихов печатают самые тиражные газеты, разве это упадок?! А что касается книгоиздания, то оно сейчас вообще отстывает перед, например, телевидением. Телеэкран стал трибуной для поэта. А для элитарной культуры остались книги... Главное, чтобы тебя Бог не забыл.

— *Когда шел к вам, спросил у семи человек на улице: «Кто такой Вознесенский?» Двое сказали: «А, это тот, который «Юнона» и «Авось»!» Один вспомнил вашу книгу «Казино Россия» и прибавил: «Классный образ!» Двое кивнули: «Да, это Поэт! Жаль, что он уехал!» А один спросил: «А что, разве он еще жив?» Как вам такая реакция?*

— Хорошо, что вас не послали на три буквы!

## ПОЭТ И СЛАВА



*Так уж случилось, что хрущевская оттепель открыла доступ к современной русской поэзии не только русскому читателю. Вознесенский много выступал за границей. И везде — с неизменным триумфом. Его друзьями стали Роберт и Жаклин Кеннеди (брат и супруга трагически погибшего американского президента Джона Кеннеди), в своем доме поэт принимал и первую леди США Нэнси Рейган. Его ценит французский дизайнер Пьер Карден, художник Марк Шагал и другие незаурядные личности.*



*С. Намин, З. Богуславская,  
А. Вознесенский, П. Маяковская*

В 1972 году Андрей Вознесенский оказался первым советским поэтом, которого избрала своим почетным членом Американская Академия искусств и литературы. Уилльям Джей Смит, поэт, литературовед, а в прошлом — политик, принадлежит к числу близких американских друзей Вознесенского. Смит выпустил несколько сборников стихов; сейчас он преподает английский язык и литературу в Холлинсовском колледже неподалеку от Роанока (Вирджиния),

---

ранее он был членом законодательного собрания штата Вермонт (прочтение им в собрании «Небольшой оды лошади Моргана» вызвало бурю аплодисментов, и эту лошадь провозгласили эмблемой фауны Вермонта). Смит родился в Луизиане, окончил Оксфордский колледж в Англии на стипендию Родса и в 1968 — 1969 годах занимал пост консультанта поэзии при Библиотеке Конгресса в Вашингтоне.

*Из журнала «Америка» 1972 года.*



*С В. Полуниным в Голливуде*



## ПОЭТЫ И ПЕРЕВОДЧИКИ

По приглашению Патриши Блейк и Макса Хейурда, редактировавших переводы Вознесенского для сборника, запланированного издательством «Бэйсик букс компани», шесть американских поэтов — У. Х. Оден, Ричард Уилбур, Юджин Гарриг, Стэнли Куниц, Стэнли Мосс и я — занялись переводами стихов Вознесенского. Для этого требовалась известная смелость. Никто из нас не знал русского языка, и тем не менее мы осмелились (с помощью Макса Хейурда и Патриши Блейк, конечно) взяться за перевод одного из самых талантливых и сложных современных русских поэтов. Из всей нашей группы мне одному следовало бы иметь некоторое понятие о русском языке. Дело в том, что в конце Второй мировой войны я три месяца учил его в Школе иностранных языков военно-морского флота США, но в связи с окончанием войны я этот курс преждевременно бросил. Так как мне хотелось поскорее забыть четыре года войны и все с ней связанное, я за последующие 20 лет ни разу не брал в руки русского текста и не слушал русских пластинок. Русская литература меня, конечно, интересовала, и русскую поэзию я продолжал читать, но всегда в переводах. Когда в 1970 году я поехал в Советский Союз, то в памяти у меня стали воскресать забытые звуки речи, которой меня обучали хоть и недолго, но интенсивно, однако к письмен-

---

ности они не имели отношения. Впрочем, через месяц я убедился, что могу следить за разговором русских и кое-что понимать. Однако как собака, снимающая лишь привычные фразы, с которыми к ней ежедневно обращается хозяин, я мог в ответ только кивать головой, сказать же почти ничего не мог.

Когда Андрей Вознесенский как-то показал известному старому поэту одно свое стихотворение в переводе У. Х. Одена, тот, прочитав перевод, сказал с восхищением: «Один безумец понял другого». И эти слова очень просто объясняют, почему стихи Вознесенского в переводе на английский имели такой успех. Поэта должны переводить поэты же: даже если они и не знают языка подлинника, им все же удастся передать какую-то часть его вдохновенного безумия.

«Как собрат-сотрудник, — писал У. Х. Оден, — я в первую очередь поражаюсь мастерством Вознесенского. Я вижу перед собой поэта, который знает, что стихотворение, помимо всего прочего, есть словесное изделие и должно быть изготовлено так же умело и прочно, как стол или мотоцикл». Переводчики Вознесенского старались передать ощущение этой прочности и умения, хотя и сознавали, что, как сказал Оден, «метрические эффекты Вознесенского способны привести в отчаяние любого переводчика». Число слогов в строке можно еще воспроизвести по-английски, хотя в русском стихе, видимо, более четко выражены ударения. Переводы Вознесенского на такие языки, как, ска-

---

жем, французский, получают гораздо хуже. Английского переводчика приводит в отчаяние еще и то, что ему приходится употреблять больше слов. Об этом я не раз горевал, в особенности при переводах небольших лирических стихотворений Вознесенского. В первый раз я догадался о лаконичности русского языка, увидев в журнале «Иностранная литература» свое стихотворение «Какой поезд придет?» в переводе Вознесенского. Мне бросилось в глаза, что стихотворение словно съежилось в переводе, и я решил, что переводчик многое решил выбросить. Только потом я сообразил, что русская строфа обладает огромной емкостью.

Мой добрый знакомый, тоже писатель, побывал недавно в Будапеште, где помогал редакции одного журнала с переводами на английский. Американской студентке, приехавшей в Будапешт, мой знакомый объяснил, что венгерского языка он не знает, и посему работа его заключается в том, чтобы переводить с «чернового» английского на «чистой» английский. «Это просто чудесно, — воскликнула девушка — Как хорошо вы, должно быть, знаете оба языка!» Действительно, работая над такими сложными и запутанными стихами, как у Вознесенского, приходится близко знакомиться с «черновым» английским и гадать, удастся ли добиться от него необходимой гладкости и ясности. И когда требуется достигнуть такого результата побыстрее, как иной раз требовалось от меня, то приходится ломать голову и нервничать.

В 1971 году Вознесенский приехал в Ва-

---

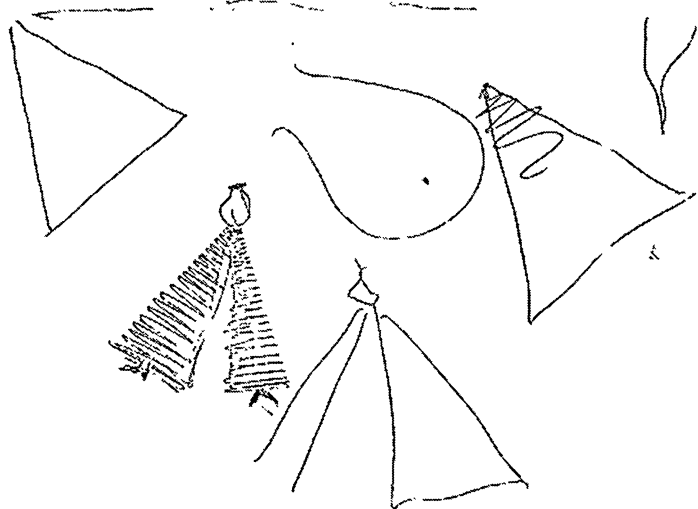
шингтон, чтобы выступить с чтением своих стихов. Библиотека Конгресса, взявшая на себя организацию вечера, решила временно поместить поэта в гостинице «Конгрешонал», в нескольких кварталах от Библиотеки. В «Конгрешонале» находились правительственные учреждения, и его никак нельзя было назвать самым привлекательным или фешенебельным отелем в Вашингтоне: то была рабочая гостиница. Туда ежедневно приезжали разные люди со всех концов страны по поручению той или иной организации и работники обеих политических партий. Андрея позабавило то, что рядом с его номером разместилось бюро Национального комитета Республиканской партии. Для самого Андрея эта гостиница тоже стала рабочим местом.

После завтрака мы с Андреем попробовали, как звучат наши голоса в Библиотеке, а затем удалились в бар «Конгрешонала», чтобы там подготовить программу вечера. Бар был почти пуст, мы уселись в полутемном углу; на стене за нами красовалась фреска, изображавшая силуэт Нью-Йорка. Андрей быстро наметил, в каком порядке он собирается читать свои стихи, и передал мне переводы некоторых новых стихов, сделанные американскими поэтами Лоренсом Ферлингетти и Робертом Блаем. У Андрея было одно новое стихотворение, которое он собирался прочитать, но его еще требовалось перевести на английский. Стихотворение состояло из нескольких строчек, написанных при посещении Андреем Калифорнийского университета в Беркли.

Меня поэзия

Меня точка поэтическая точка.  
И берки в сердце у меня.  
Его судящего и собою  
буквоеды, света, и ума.

А <sup>КЛЕШК</sup> ~~буквы~~ ступеньки пролеткой  
вниз расширялись в темноте,  
как тени расширяясь, если  
исходящих слов в приводе,



Рукопись Вознесенского  
со схематическими рисунками поэта

---

Меня тоска познания точит.  
И Беркли в сердце у меня.  
Его студенчество — источник  
Бунтарства, света и ума.

А клеши спутницы прелестной  
Вниз расширялись в темноте,  
Как тени расширяясь, если  
Источник света в животе.

Пока я пытался разобрать стихотворение, Андрей, видя мои усилия, вынул из кармана авторучку (он часто прибегает к помощи зрительных образов при объяснениях) и набросал приводимые здесь рисунки на рукописи. Он объяснял, что именно он хотел сказать, так торжественно, словно то было не стихотворение, а философский трактат. Как можно увидеть из моих черновиков, я тогда же предложил такой вариант перевода:

### Sources

I came to learn,  
To explore the secrets of Berkeley,  
To find in its students the sources  
Of rebellion, light, and ideas.

But I was sidetracked by a coed's  
bell-bottomed trousers  
Which flared out as shadow would flare out  
If the source of light  
Were centered in her belly.

---

Перевод сохранял, по крайней мере, образ. Вечером я объяснил публике, что перевод был сделан сегодня днем наспех, за несколько минут. Стихотворение, видимо, дошло до слушателей и понравилось им. Хорошо приняли его и через несколько недель в Нью-Йорке в моем чтении. Вероятно, я перевел бы его иначе, может быть даже точнее, если бы посоветовался с каким-нибудь специалистом по русской литературе, но никогда я не почувствовал бы его так живо, как после графических объяснений Андрея.

Во время нашей краткой подготовки Андрей сказал, что собирается прочитать свой перевод моего стихотворения «Какой поезд придет?» Я ответил, что очень польщен, но поскольку стихотворение это длинное, то, пожалуй, следует обойтись без моего чтения этой вещи по-английски. Кто из слушателей незнаком с этим стихотворением может всегда прочитать его после, если пожелает. Андрей согласился. Но в середине вечера я вдруг догадался, что он неправильно меня понял. Когда я объявил, что сейчас Вознесенский читает «Какой поезд придет?» в своем переводе на русский, но что читать по-английски мы такую длинную вещь не будем, Андрей сурово посмотрел на меня и велел мне прочитать ее по-английски. Когда я возразил, что у меня нет с собой этого стихотворения, он сказал, что подождет, пока я его раздобуду. Я помчался за кулисы отыскивать сборник с этой вещью. Непредвиденное недоумение публике понравилось (некоторые даже были уверены, что мы заранее его пропре-

---

петировали). Теперь, после того как я уже несколько раз выступал перед публикой вместе с Андреем, я всегда готов к неожиданностям. Андрей — опытный чтец, и поэтому он не любит повторяться. Он умеет оценить аудиторию и соответственно изменить, пусть незначительно, намеченную программу. Иной раз мне кажется, что между нами установилась телепатическая связь, потому что чаще всего я без предупреждения чувствую, что вот сейчас он собирается изменить порядок чтения или выпустить какое-нибудь стихотворение.

Одна строфа из «Иронической элегии» Андрея, которая говорит о поэтическом творчестве, может служить примером эволюции моих переводов. Вот что Андрей говорит о себе в этой строфе:

Был крепок стих, как рафинад.  
Свистал хоккейным бомбардиром.  
Я разучился рифмовать.  
Не получается.

Данный мне подстрочник передавал эти слова так:

My verse was strong. A solid lump.  
It swished over the ice to its goal.  
I have unlearned to rhyme.  
It doesn' t come off.

Он казался мне туманным и неточным. Мне не нравился перевод слов «рафинад» и «свистал». Конкретного образа не получалось. Я посоветовался с моим консультантом, и тот предложил такой вариант:



---

My verse was solid once, like crystal sugar.  
It whistled like a hockey puck.  
But I've forgotten how to rhyme.  
It works no more.

Теперь все прояснилось: введение слов «hockey puck» не оставляло сомнений в том, что именно «свистело», и поскольку хоккей был упомянут, не было необходимости говорить «по льду». И все-таки строфа казалась мне многословной и тяжеловесной, не вяжущейся с быстрым и энергичным образом.

В Вашингтоне я разобрал это стихотворение с Андреем — опять-таки в баре гостиницы «Конгрешонал». На вопрос, что он хотел сказать первой строчкой, Андрей ответил, что главным словом в ней считает «кристальный», что кристальный сахар — это буквальный перевод, но сахар нужен только для рифмы, и переводить его не обязательно. В конце концов, повозившись с этой строфой, я остановился на следующем:

My verse was solid — like crystal;  
A hockey puck, it zinged to its goal.  
But I can't rhyme anymore;  
I've lost the knack.

Вот так, по-моему, Вознесенский должен звучать по-английски.

Другим примером моего перевода, претерпевшего много изменений, может служить «Лодка на берегу».

---

Над лодкой перевернутою, ночью,  
над днищем алюминьевым туга,  
гимнастка, изгибая позвоночник,  
изображает ручку утюга!

В сияньи моря северно-янтарном  
хохочет, в днище впаяна, дыша,  
кусачка, полукривочка, кентаврка,  
ох, полулodka и полудитя...

Полуморская-полугородская,  
в ней полуполоумнейший расчет,  
полутоскует — как полуласкает,  
полутопит — как полуспасет.

Сейчас она стремглав перевернется.  
Полузвереныш, уплывет — вернется,  
по пальцы утопая в бережок..  
Ужо тебе, оживший утюжок!

Подстрочник этого стихотворения выгля-  
дел так:

On the boat, turned-over, at night,  
On the aluminum hulk, taut,  
A (girl) gymnast (athlete), curving her spine  
(bending double),  
pretended to be the handle of a flatiron.

In the sea's northerly-amber glitter  
she laughs, soldered (welded) to the hulk, breathing,  
(a pair of) pliers, half-cast, centaur,  
ah, half-boat and half-child...

Half-sea (creature), half-city (creature),  
she has a half-crazy (demented) calculation:  
(first she' s) half-sulky, then (she' s) half-friendly,  
(first) half-drowns (you), then half-saves you.

A boat covered with snow on the seashore.

~~What's it about, turned-over like him? the girl's  
whose laughter's stuck to you like waxed film scales?  
who are you dreaming of and whose dreaming of you?  
and again the sea pounds the sand...~~

On the boat, turned-over, at night,

On the aluminium hulk, taut,  
(athlete  
a girl/gymnast, curving her spine /bending double/  
pretended to be the handle of a flatiron.

In the ~~xxx~~ sea's northernly-amber glitter  
welded she laughs, soldered to the hulk, breathing,

/a pair of ~~xxxxxx~~ of pliers, half-cast, centaur,  
ah, half-boat and half-child...

Half-sea /creature/, half-city /creature/;  
she has a half-crazy calculation:

/first she's /half-sulky/, then /she's/ half-friendly;

/first/ half-drown /you/, then half-saves you.

Now she'll slip over, ~~pin, feet~~

Half-animal, who'll swim away, and come back  
burping herself?

Sinking up to her finger tips in /the sand off/ the shore...

Just you wait, human flatiron! ... lit. flatiron that has come to life.

Strangest up to  
dive into the sea  
wicked little human

body animal of any sort  
lit. wild

Shipping scene to  
flashback -

appeared to be



(half-trunk)



Feeling  
plan -  
design  
Shuts signs of  
affecting  
flitting

part of the story

wicked little human in

Черновик перевода стихотворения Вознесенского  
«Лодка на берегу»

---

Now she'll flip over,  
Half-animal, she'll swim away, and come back  
sinking up to her finger tips in (the sand of?) the shore...

Just you wait, human flatiron! *lit.* flatiron  
that-has-come-to-life.

Это очаровательная, нежная вещь, и если ее перевести неуклюже, пропадет вся нежность, а с ней и стихотворение. Это я понял, как только прочитал подстрочник. Стихотворение обращено к зрительному восприятию и, разбирая с моим консультантом подстрочник, я выяснил значение не только отдельных слов, но и общей картины. Как можно увидеть из черновика моего перевода, я попутно даже набрасывал рисунок «утюжка», дабы убедиться в том, что я правильно понял, вернее увидел, то, о чем говорит произведение. Мне прочитали его вслух, я почувствовал звучание, оценил метрику, разобрал способы рифмовки и характер рифм во всех деталях. Окончательный вариант моего перевода, приближающийся к метрике и схеме рифмовки подлинника, может показаться очень далеким от подстрочника, но поэтическая интуиция подсказывает мне, что мой перевод передает дух подлинника вернее:

### **A boat on the shore**

On the overturned boat in clear outline,  
Taut, on its aluminum hull at night,  
Is a gymnast who, arching back her spine,  
Becomes the handle of a flatiron.

---

In the North Sea's constant amber glitter  
like a pair of pliers, this half-caste, wild,  
Centaur-like creature, welded to the hull,  
Is partly a boat and partly a child.

Half spirit of the city, half spirit of the sea,  
She carries on this silly flirtation:  
Half-sulking at first, and then half-friendly,  
Will save you and then drop you back in the ocean.

She will of a sudden flip over and  
Dart into the water, half-seal swim about;  
Then return to burrow deep in the sand...

Just wait, little iron, till you' re ironed out!

Иногда при переводе приходилось прибе-  
гать к большим вольностям. Мне очень повез-  
ло, так как я всегда шел на них с одобрения и  
разрешения автора. Вот, например, заключи-  
тельная строфа «Стриптиза»:

«Вы Америка?» — спрошу, как идиот.

Она сядет, сигаретку разомнет.

«Мальчик, — скажет, — ах, какой у вас акцент!

Закажите мне мартини и абсент».

Я указал Андрею, что в Америке никогда, ни  
в одном баре, никто — даже самая бесшабаш-  
ная мастерица стриптиза — не закажет «мартини  
и абсент». Соответствующий американский  
эквивалент — двойной мартини. Поэтому в пе-  
реводе я зарифмовал этот напиток подобно то-  
му, как автор поступил с «абсентом» в подлин-  
нике:

---

«Are you America?» I'll ask like an idiot;  
She'll sit down, tap her cigarette.

«Are you kidding, kiddo?» she' ll answer me.  
«Better make mine a double martini!»

Профессора-буквоеды, знакомясь с моим переводом, обязательно указывают на эту «ошибку». Один такой буквоед напал на мой перевод заключительных строк «Ночного аэропорта в Нью-Йорке»:

Бруклин — дурак, твердокаменный черт.  
Памятник эры —  
Аэропорт.

В моем переводе это место выглядит так:

Brooklyn Bridge, rearing its idiot stone, cannot consort  
With this monument of the era,  
The airport.

В переводе совершенно необходимо сказать не Бруклин, а «Бруклинский мост», хотя в русском подлиннике этого не требуется. Английский же читатель может подумать, что поэт имеет в виду не мост, а район Нью-Йорка. Русский читатель сразу же ассоциирует «Бруклин» со стихотворением Маяковского «Бруклинский мост», в котором этот мост превозносится как техническое достижение современности. Достижение это, однако, в глазах Вознесенского отступает на второй план перед Аэропортом имени Кеннеди в Нью-Йорке. Профессор, пожелавший исправить меня, просто не понимал, какими путями движется поэтическая мысль.

---

Переводчики-буквалисты испортили не одно стихотворение Вознесенского. Вот один прелестный отрывок из поэмы «Оза»; я много раз слышал, как Андрей читал его:

Выйду ли к парку, в море ль плыву —  
туфельк пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,  
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,  
вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,  
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.  
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфельк пара,  
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.  
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..

...В мире металла, на черной планете,  
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки  
нежные туфельки в форме скорлупки!

В тонком исполнении автора стихотворение это наполняется чувством, и туфельки становятся важным символом. Вот мой перевод:

When I walk in the park or swim in the sea,  
A pair of her shoes waits there on the floor.

---

The left one leaning on the right,  
Not enough time to set them straight.

The world is pitch-black, cold and desolate.  
But they are still warm, right off her feet.

The soles of her feet left the insides dark,  
The gold of the trademark has rubbed off.

A pair of red doves pecking seed,  
They make me dizzy, rob me of sleep.  
I see the shoes when I go to the beach  
Like those of a bather drowned in the sea.

Where are you, bather? The beaches are clean.  
Where are you dancing? With whom do you swim?

In a world of metal, on a planet of black,  
Those silly shoes look to me like

Doves perched in the path of a tank, frail  
And dainty, as delicate as eggshell.

Я пытался сохранить размер подлинника и с помощью ассонансов как можно точнее передать рифмы подлинника, не нарушая гармонии целого. Это же стихотворение перевел известный американский профессор, но, цепляясь за буквальность, он произвел на свет стихотворение с избитыми, пошлыми рифмами, приплясывающее в ритме фокстрота, то есть для читателя совершенно нелепое. Кончается его перевод, помнится, так:

Egg-white thin sneakers, I give you my thanks!



---

после чего следует, конечно, рифма «tanks». Увы: переводчик сел в калошу, более того, он превратил туфельки в «sneakers», то есть в «кеды». Это совершенная бессмыслица, разрушающая и лирику, и символику стихотворения.

Там, где Андрей Вознесенский опирается в русском стихотворении на английские стихи, задача переводчика совершенно ясна. С ней я столкнулся при переводе остроумной и яростной пародии на «Ворона» Эдгара По — тоже в «Озе». Строчки Вознесенского:

В час отлива возле чайной  
я лежал в ночи печальной,  
говорил друзьям об Озе и величье бытия,  
но внезапно черный ворон  
примешался к разговорам,  
вспыхнув синими очами,  
он сказал:  
«А на фига?!»

я перевел размером американского «Ворона»:

Once upon a midnight dreary, while, at low tide,  
weak and weary,  
I held forth to my friends on Oza and the glories of  
creation.  
Suddenly there came a raven, breaking up that  
conversation;  
Flashing eyes of fearful black,  
Quoth the raven, «What the hell!»

Вот так Эдгар По возвратился из России на родину, лишь слегка изменившийся, а в общем вполне похожий на себя.

---

Переводя моего друга Андрея Вознесенского, я еще больше сблизился с ним и с его страной, хотя я почти не знаю русского языка. «Форма не в счет, — сказал он мне однажды. — Форма должна быть ясной, бездонной, беспокойной, словно небо, в котором только радиолокатор может уловить присутствие самолета». В переводах я и пытался сохранить эту форму — это ясное, бездонное небо, в котором строчки могли бы парить так, как достойны парить строчки поэта, обладающего талантом, мудростью и мужеством.

## ПОЭТ И ОДИНОЧЕСТВО

...Слышу по телефону глухой от волнения и возраста голос Кирилла (Померанцева): «Андрей, я сейчас разбираю архив Георгия Адамовича. Я нашел там твои стихи, подаренные ему.

К стыду своему, я не помнил этих стихов. Голос из телефона прочитал:

Обдираючи аденоиды,  
состраданием ночь омоючи,  
в час всемирного одиночества  
прокричу стихи Адамовичу.

И сразу в памяти всплыла типовая келья нью-йоркского отеля, где он остановился — где-то под небом, черт знает на каком этаже, чай с ромом — хозяин был простужен, мерцала надменная лысина,

---

и взгляд — сначала отчужденный, потом отогревшийся, потеплевший, взгляд чайного тона.

О чем проговорили мы эту ночь, чаевничая с ним — последним из основателей «Цеха поэтов», бессребреником Серебряного века, ментором эмигрантской музыки, законодателем вкуса, имевшим характер и право отчитывать Цветаеву и Набокова, на равных спорившим с Ходасевичем, а через него — с Пушкиным?

К тому времени он отклонялся акмеизму, о Гумилеве говорил вежливо, но холодно. Помолодел, когда речь зашла о Поплавском. Просил читать стихи. Расспрашивал жадно о новом в литературе отечества — для него процесс культуры был един, не разделяем границами. «Вам пишется?» — с нервной хрипотцой спрашивал он. И не так проста оказалась его декларируемая «простота», толстовская безыскусственность, которой он был известен.

Ныне многие бездумно, как попки, затвердили формулу:

...Нельзя не впасть к концу, как в ересь,  
В неслыханную простоту.  
Но мы пощажены не будем,  
Когда ее не утаим.

После этой беседы по-иному мне открылась трагичность его мысли, оплаченной опытом жизни:

«Стоит только пожелать простоты — простота разъест душу серной кислотой, капля за каплей. Простота есть понятие отрицательное, глубоко ме-

---

фистофельское и по-мефистофельски неотразимое. Как не хотеть простоты и как не достичь ее, не уничтожившись в тот же момент! Все не просто. Простота есть ноль, небытие».

Это о себе написал он. Он был скуп на стихи. С годами еще скупее. В эмиграции выпустил книгу «На Западе». Потом перестал писать стихи. Простота сожрала его. «Но мы пощажены не будем...»

Полемика его с Ходасевичем — что важнее в стихах: «мастерство, поэтическая дисциплина» или «безыскусная человечность» — была спором, который каждый поэт ведет с собой всю жизнь.

Почему он пригласил меня к себе? Чем дорога и необходима стала мне эта встреча? В отечестве нашем в те годы критика оборачивалась журналистикой — раздолбать или продвинуть, — тосковалось по текстовому анализу, по гамбургскому счету. Мне, в башке которого был сумбур из пост — авангарда, Раушенберга, Хайдеггера, позднего и раннего Пастернака, много дали эти тихие беседы с Георгием Викторовичем, но еще ранее с Глебом Струве и многолетние собеседования со «странником» Иоанном Сан-Францисским. Получалось, что за океаном ты находил заповедную русскую культуру. Как и они, Адамович не был заглавной буквицей российской поэзии. Он был прописной ее буквой, из тех, которые слагаются в текст.

Порой более громкие судьбы заслоняют их от нас, но они — сердцевина текста культуры. Поэты-критики, эрудиты, камертоны вкуса, труженики

---

культуры, их дар анализа не менее важен, чем стихотворный. Порой одно противоречит другому. Именно поэт в противовес находящемуся внутри него критику испытывал страсть к сочным, размашистым стихам и жизненному жесту Поплавского.

Как и пожизненный сердечный друг его, другой Георгий — Иванов, отойдя от гумилевского кристалла формы, Адамович писал уже не словом почти, а дыханием, осязанием:

Там, где — нибудь, когда — нибудь,  
У склона гор, на берегу реки,  
Или за дребезжащею телегой...  
Не знаю что, не понимаю как,  
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно...

## ПОЭТ И ЗОЯ

«...заметив меня, она развернулась и демонстративно на весь зал поздоровалась. Подошла. Заговорила. Номенклатура обиженно выделяла адреналин. В этом поступке, рискованном для ее судьбы, озорно проступила чистота и красота ее характера. Странно, вроде гонимым был я, но именно ее хотелось спасти, вытащить из круга вурдалаков...»



*Зоя Богуславская сейчас — известный прозаик, автор крупных культурных проектов, среди которых — премия «Триумф», фести-*



Зоя

*валь «Рождественская карусель», книжного проекта с издательством «Эксмо» «Золотая коллекция Триумф». Она — создатель Ассоциации женщин-писательниц, член исполкома Русского ПЕН-центра. А тогда, в начале 60-х — автор статей о театре и кино и монографий о Леониде Леонове и Вере Пановой.*





*На даче в Переделкино*



*С Зоей*

---

## КИЖ-ОЗЕРО

Мы — Киж,  
я — киж, а ты — кижиха.  
Ни души.  
И все наши пожитки —  
ты, да я, да простенький плащишко,  
да два прошлых,  
чтобы распроститься!  
Мы чужи  
наветам и наушникам,  
те Киж  
решат твое замужество,  
надоело прятаться и мучиться,  
лживые обрыдли стеллажи,  
люди мы — не электроужи,  
от шпионов, от домашней лжи  
нас с тобой упрятали Киж.

Спят Киж,  
как совы на нашесте,  
ворожбы,  
пожарища,  
нашествия.

Мы свежи —  
как заросли и воды,  
оккупированные свободой!

Кыш, Киж...

...а где-нибудь на Каме  
два подобья наших с рюкзаками,  
он, она —  
и все их багажи,  
убежали и — недосыгаемы.



---

Через всю Россию ночниками  
их костры — как микромятежи.

Раньше в скит бежали от грехов,  
нынче удаляются в любовь.

Горожанка сходит с теплохода.  
В сруб вошла. Смыкаются над ней,  
как репейник ровень небосводу,  
купола мохнатые Кижей.

Чем томит тоска ее душевная?  
Вы, Кижы,  
непредотвратимое крушение  
отведите от ее души.

Завтра эта женщина оставит  
дом, семью и стены запалит.  
Вы, Кижы, кружитесь скорбной стаей,  
сердце ее тайное болит.

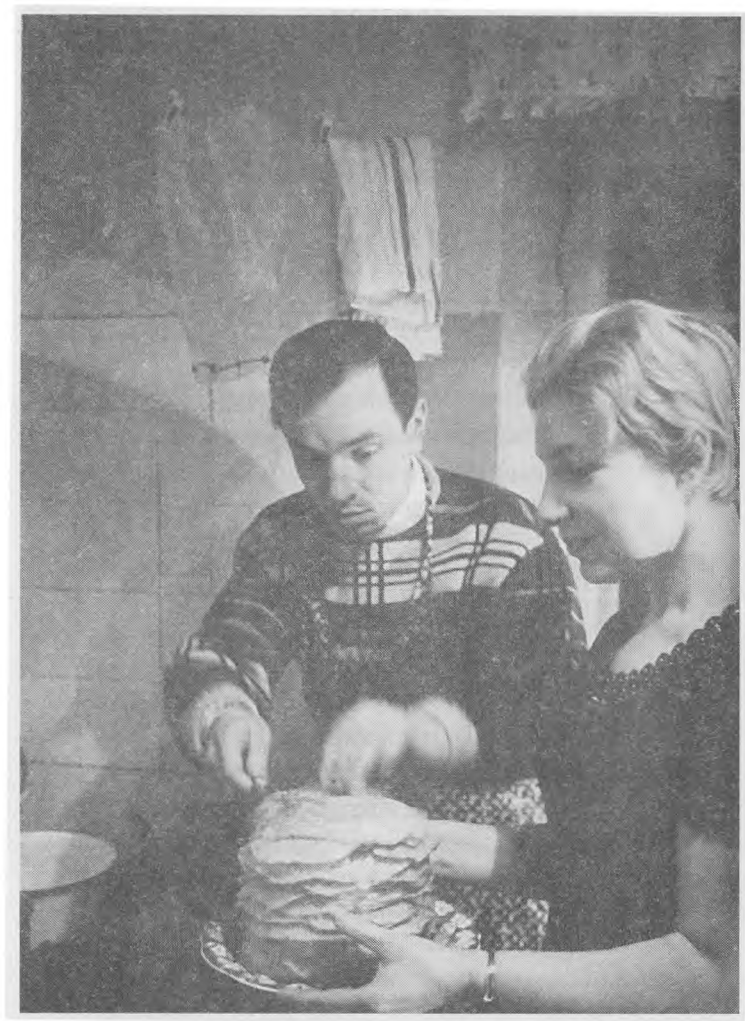
Женщиною быть — самосожженье,  
самовозрожденье из огня.  
Сколько раз служила ты мишенью?!  
Сколько еще будешь за меня?!

Есть Второе Сердце—как дыханье.  
Перенапряжение души  
порождает

новое познание...

будьте акушерами, Кижы.

Теплоход торопится к Устьюгу.  
И в глуши  
двадцатидвуглавою зверюгой  
завывают по тебе Кижы.



*На Котельнической*

---

## ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,  
обойми,  
только губы дыхнут об мои,  
только море за спинами плещет.

Наши спины, как лунные раковины,  
что замкнулись за нами сейчас.  
Мы слушаемся, прислонясь.  
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад  
заслоняем своими плечами  
возникающее меж нами —  
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,  
свои форточки отвори.  
В моих порах стрижами заплещутся  
души пойманные твои!

Все становится тайное явным.  
Неужели под свистопад,  
разомкнувши объятья, завянем —  
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,  
на скорлупы упругие спин!  
Это нас погружает друг в друга.

Спим.

1965

---

## СВЕЧА

Зое

Спасибо, что свечу поставила  
в католикосовском лесу,  
что не погасла свечка талая  
за грешный крест, что я ношу.

Я думаю, на что похожая  
свеча, снижаясь, догорит  
от неба к нашему подножию?  
Мне не успеть договорить.

Меж ежедневных Черных речек  
я светлую благодарю,  
меж тыщи похоронных свечек  
свечу заздравную твою.

1971



*Это было в августе 2009-го . Я пришла к ним, когда Зоя наливала Андрею Андреевичу чай в саду. Она наливала ровно столько, чтобы муж мог сам держать чашку с небольшим наклоном, не пролив на себя (у него плохо слушалась рука). Когда Зоя побежала в дом на телефонный звонок, поэт четким шепотом спросил: «А про любовь в этой книжке будет?» Я не знала что ответить, — поскольку никогда не была доверенным лицом в его сердечных тай-*



*В Переделкине (2005)*

*нах. Да он практически никогда не рассказывал о них..*

*Он улыбнулся: «Вы, должно быть, не знаете, но я ведь влюблялся и в разных женщин. И они в меня — тоже». — «А Зоя?» — «А Зоя — это самое главное. Это моя жизнь».*



*Зоя Богуславская*

### **(РАЗГОВОР ЗА ЧАЕМ С А. С-Ш)**

*— Зоя Борисовна, вот Андрей Андреевич мне сейчас в саду сказал, что в его жизни были и другие женщины.*

*— Это он поскромничал. В Андрюшу были влюблены все женщины. Помню, еще в самом начале, мы*

---

собрались большой компанией у кого-то из «Современника». Там была Таня Самойлова, никогда не сводившая с Андрея своих влюбленных глаз. Такси приехало за нами часа в два ночи, и Таня попросила подвезти ее до Песчаной. Она там жила. Подвезли. Андрей открыл дверь подъезда, пропустил в него Таню и простился с ней. Я спросила: «Разве ты не проводишь Таню до квартиры?» Он коротко ответил: «Нет». Я возмутилась: «Как ты можешь в такой поздний час?» Он промолчал. Много лет спустя он объяснил: если б я ее проводил, она бы меня не выпустила... Пару лет назад, оказавшись с Андреем в одной больнице, Таня не раз подходила к его палате...

Другая Таня, Лаврова, его тоже всегда любила... У них даже был роман. Дней за 10 до смерти Таня вдруг позвонила мне. Я сказала, что очень рада ее слышать. Она была удивлена. Должно быть, всем женщинам кажется или хочет казаться, что к ним должны ревновать пожизненно...

— *Вы были замужем за талантливым, хорошо обеспеченным ученым. Он, я слышала, сейчас академик, живет в Штатах. А тогда у вас с ним уже был сын Леня. И как же вы, серьезная женщина, молодой прозаик, рискнули уйти к поэту?*

— Сначала я полюбила только его стихи. Мы часто встречались в доме у Лены Ржевской, вдовы поэта Павла Когана. Мой муж был ее братом. Туда приходили Слуцкий, Самойлов, Окуджава... Заходер говорил тогда: «Наступила Мезозойская эра». Это

---

потому что он ухаживал за Зоей Крахмальниковой, а за мной — Андрюшка, который уж и не знал, как меня завоевать. Я как раз выпустила книжку о Пановой, которую в письме ко мне — расхвалил Корней Иванович Чуковский. В эту книжку я вставила стихотворение Андрея про девочку в автомате. Это была первая публикация после Хрущевского скандала.

Но это все было давно и никому, кроме нас с Андрюшей, неинтересно. Интересно другое. А сейчас... Ему отказывают то руки, то ноги. И при этом, посмотри! — как он пишет! Судьба сохранила ему главное: светлый ум, память и необычайной силы дар. Он сочиняет, а потом диктует. Только что получила этот журнал . Хочешь, прочитаю?



*Когда Зоя дошла до последней строчки, я впервые за все годы знакомства увидела, как из ее глаза скатилась и застыла на щеке серебряная слеза... Зоя Борисовна моментально смахнула ее с лица.*



### СПЛОХ

Один, среди полей бесполох  
Иду под знаком Зодиака.  
Была ты — чистой страсти сплох.  
Национальностью — собака.

---

Вселившийся в собаку сполох  
Меня облизывал до дыр.  
И хвостик, как бездымный порох,  
Нам жизни снизу озарил.

Хозяйка в черном, как испанка,  
Стояла мертвенно бледна,  
Собачий пепел в белой банке  
Протягивала она.

Потоки слез не вытекали  
Из серых, полных горя глаз  
Они стояли вертикально,  
Чтобы слеза не сорвалась!

Зарыли все, что было сполох,  
у пастернаковских пенат.  
Расспрашивал какой-то олух:  
«Кто виноват?» — Бог виноват!

А завтра поутру, бледнея,  
Вдруг в зеркале увидишь ты  
Лик спасенного шарпея  
Проступит сквозь твои черты.

И на заборе, не базаря  
Еще о внешности своей,  
Роскошно вывел: «Я — борзая»  
А надо было: «Я — шарпей».

Герой моих поэм невежа  
Оставил пепел на меже



---

Между пенатами и Полем,  
Полузастроенном уже.

Между инстинктом и сознанием,  
Как на чудовищных весах,  
Меж созданным и Мирозданием  
Стоит собака «на часах».

Стоит в клещах и грязных спорах.  
И уменьшаясь, как петит,  
Самозабвенный черный сполох,  
Все... по небу летит.

Меж вечностью, куда всем хочется,  
И почвой — где помет крысиный,  
Меж полной волей одиночество  
И болью непереносимой.

Вот так-то, мой лохматый сполох.  
Перетираются весы.  
Как будто инфернальный Поллак  
Измазал кровью небеси.

Не понимаю по-собачьи,  
На русский не перевожу,  
За пастернаковской дачей  
Я ежедневно прохожу.

Пусть будь что будет. Се ля ви.  
Похороните как собаку  
Меня, виновного в любви  
К тебе одной и Пастернаку.

*30 мая 2009 г. Переделкино*



*На сцене ЦДЛ*

*Юнна Мориц*

## **ОБ АНДРЕЕ ВОЗНЕСЕНСКОМ**

Прежде всего — энергия. Сила напряжения и напряжение силы. Энергетический режим стиха, реактивность нравственного воображения, магнитная аномалия инверсий, метафор, всей поэзии Вознесенского как образа энергетической жизни — от лирики до плаката, от плаката до лирики.

Любой кризис в любом искусстве — кризис энергетический, любой расцвет и благословенное изобилие — плоды духовной энергии, без которой немислимо «переоткрытие» физиче-

---

ской и духовной реальности, то есть — живое искусство, поэзия — в первую очередь, поэзия — всех отзывчивей. Мировая экономика бьется в поисках дешевой энергии. Для искусства — эпоха дешевой энергии равносильна гибели. Духовная энергия никогда не была дешевой, она дорого достается и дорогой ценой добывается из человеческих недр, из пыланья души и сознания, чей свет, как золотое руно Колхиды, прекрасен для всех, кому озаряет путь, но безжалостен к тем, кто держит его в руках, потому что лишает их тени, сглаживающей так многое...

Более двух десятилетий бурно спорят критики о Вознесенском, прибавляя жару столь же бурной любви к нему колоссальной читательской аудитории. Неизменно пишут о том, что Вознесенский ворвался в поэзию стремительно, как метеор, как шаровая молния, вместе с шумной толпой молодых, которые вмиг растолкали не успевших опомниться старших и ринулись на эстраду, чтобы своим артистизмом превратить читателя в слушателя и зрителя и добиться славы, минуя книжные полки.

Наивно думать, что вообще возможен такой примитивный, стадный прорыв в поэзию мимо всех и вся, мимо книг и живых классиков, расталкиваемых локтями (Пастернака, Ахматовой, Заболоцкого, Твардовского), тем более — в годы страстной читательской любви к их творчеству, в годы, когда молодое поколение запело стихи Цветаевой, Мандельштама, Есенина и

---

рыскало в поисках книг и журнальных публикаций Мартынова, Смелякова, Слуцкого, Винокурова.

Нет, старших по возрасту поэтов не только не пришлось расталкивать, но напротив — они (Маршак, Антокольский, Асеев, Тихонов, Симонов, Твардовский, Светлов, Винокуров) с неравнодушием, свойственным всякому сильному таланту, откликнулись и немало способствовали прорыву в поэзию тех молодых людей, которых теперь называют поэтами 60-х. Как откликнулись и как способствовали? Реально и неуклончиво: журнальными и газетными публикациями, изданиями книг, статьями. Кстати, «толпа» молодых тогда поэтов была не так многочисленна, как теперь кажется, теперь — когда имена молодых с таким трудом прививаются читателю, несмотря на страстное желание критики. И, кстати, тогдашние молодые упорно и вдохновенно способствовали читательскому успеху поэтов старшего поколения, как раз тех самых поэтов, которых они якобы неучтиво растолкали шумной своей толпой.

Все непросто и неоднозначно. На здоровом животном задоре в поэзию не ворвешься, в ней все равно побеждает демократия талантов, многих и разных. Плеяда 60-х годов никогда бы не состоялась ни оптом, ни в розницу, заботясь лишь о собственной славе, а не о славе всего поэтического собора, где если кого не слышно — так все, рано ли, поздно ли, за это виновны и терпят стыд и ущерб.

Андрей Вознесенский стал известным по-

---

этом в тот день, когда «Литературная газета» напечатала его молодую поэму «Мастера», сразу всеми прочитанную и принятую не на уровне учтивых похвал и дежурных рецензий с их клеточным разбором, а восторженно и восхищенно.

Свобода и напор этой вещи, написанной двадцатипятилетним Андреем Вознесенским, были наэлектризованы, намагничены током страстей, живописью и ритмом, дерзкой прямоотой и лукавой бравадой, острым чутьем настроений своего поколения, злобы ночи и злобы дня. Вознесенский предстал в «Мастерах» как дитя райка (во всех значениях слова): раёшный стих, раёшный ящик с передвижными картинками давней и сиюминутной истории, острота, наглядность и живость райка, и — автор, вбежавший на сцену поэзии с вечно юной галерки, которая тоже — раёк.

Краткое сообщение крайней важности: «Художник первородный — всегда трибун. В нем дух переворота и вечно — бунт».

Раешная звуковая роспись — всем телом: «На колу не мочало — человека мотало!», «Не туга мошна, да рука мощна!», «Он деревни мутит. Он царевне свистит», «Чтоб царя сторожил. Чтоб народ страшил».

Никакой чопорности, никакой пелены поэтических привычек, зато чудесная зрячесть к «подробностям», вроде снега и солнца, которые молодой Вознесенский не раскрашивает, а расверкивает, озорничая стихом:

---

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай.  
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей, гуляй!  
Гуляй!

Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных санях...  
Купола горят глазуньями на распахнутый снегах.  
Ах! —

Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где яркие яйца, кружки, караси.

По соборной, по собольей, по оборванной Руси —  
эх, еси —

только ноги уноси!

Двадцать два года назад можно было в один день стать известным поэтом, напечатав поэму «Мастера». И сейчас можно. Если написать. В двадцать пять лет. И быть Вознесенским.

Под конец поэмы — ряд дерзких и торжественных обещаний, плакатных, откровенно публицистических, на крике:

Врете,  
сволочи,  
будут города!  
Над ширью вселенской  
в лесах золотых,  
я,  
Вознесенский,  
воздвигну их!

Какая ослепительная вера в свои силы, в свою удачу, в значительность происходящего, в читателя, который должен чувствовать то же и так же! Читатель — цель и высший суд, и оправдание, и триумфальная радость, и чувство сво-

---

его единственного пути, даже когда «меня пугают формализмом»:

Мне ради этого легки  
любых ругателей рогатины  
и яростные ярлыки.

Через много лет и через много книг Андрей Вознесенский категорически скажет в «Надписи на «Избранном»:

Не отрекусь  
от каждой строчки прошлой —  
от самой безнадежной и продрогшей  
из актрисуль.

Не откажусь  
от жизни торопливой,  
от детских неоправданных трампинов  
и от кощунств.

Толпа кликуш ждет, хохоча, у двери:  
«Кус его, кус!»  
Все, что сказал, вздохнув, удостоверю.  
Не отрекусь.

Многим хотелось бы видеть даже своих любимых поэтов чуть-чуть другими. Но поэты почему-то упрямятся, даже когда им искренне желают добра. Может быть, потому, что они прослышали, будто недостатки поэзии — обратная сторона ее же достоинств: горячая — не холодная, холодная — не горячая, конкретная — не абстрактная, абстрактная — не конкретная, лиричная — не публицистичная, публицистичная — не лиричная и т. д. ... Даже многие знают точно, что поэт должен в себе сочетать то ли

---

наивную свежесть младенца с искушенной мудростью старца, то ли наивную свежесть старца, с искушенной мудростью младенца.

Андрей Вознесенский никоим образом не старался усмирить бурные споры и установить ровное к себе отношение критики, прекрасно понимая, что самые разные, изоощренные и лобовые, сыпучие и летучие упреки в его адрес лишь способствуют неукротимому интересу и пылкой взаимности читателя, умеющего ценить в поэте энергию противоборства всяческой косности, которая не только не отстает от времени, но порой опережает его, все равно оставаясь косностью и прокрустовым ложем. На этих путях и скоростях Андрей Вознесенский доказал, что он сильная творческая личность со своей энергетикой.

А меж тем энергия Вознесенского неистощима, он добывает ее отовсюду — из ядерных реакций общественной жизни и личной, из углей древности, из нефтяной злобы дня, из путешествующих рек, морей, океанов, из торфа усталости, кризиса и одиночества, из — наконец! — яростного сжигания отбросов. Эта неустанная энергодобыча и энергоснабжение читательской массы — самое, на мой взгляд, поразительное и первостепенное качество Андрея Вознесенского. Люди, горящие ожиданием у книжных прилавков и в необъятных залах, — свидетельство тому неоспоримое.

Нет формулы для таланта, нет формулы для успеха. «Планы прогнозируем по сопромату, но часто не учитываем скрытымным». «Или у Судь-





*С Людмилой  
Зыкиной после  
исполнения  
«Поэтории»  
на музыку  
Р. Щедрина*

*С Аркадием  
Райкиным,  
Зоей и  
Александром  
Твардовским.  
1970*



*С Борисом Гре-  
беничковым*



*С Беллой Ахмадулиной и Ульяной Лопаткиной*



*С Зоей, Володией Васильевым и Катей Максимовой*

---

бы есть псевдоним, темная ухмылочка — скрытымным?» Постфактум можно лишь обозреть очевидное.

Вознесенский дерзок, самоуверен, любит свою судьбу и удачу, не без шика и не без бравады, но нет в нем и тени избранничества, надмирности, мерзкой мании величия. Его примчал в поэзию не только необычайный талант, но и необычайный напор того поколения, которое он представляет и чувствует всем существом, как охотничий пес. Он воспел самых разных героев и антигероев этого поколения во всей их красе — в благородстве и пошлости, в смертных подвигах и смертных грехах, в целомудрии и распутстве, в самоотверженности и подлости, в храбрости и нахальстве, без лести и без прикрас, языком падений и взлетов, обращаясь к высоким и чистым, к пошлым и низким сторонам жизни в век НТР, в космический век разобщения и сверхобщения. «Шик и бравада» Вознесенского в том, что он нарочито не красуется, не старается выглядеть лучше, чем был и есть на самом деле, не наряжает себя в легенды и мнимые подвиги, у него есть нечто более притягательное для читателя его поэзии: небеззащитная обнаженность, небеззащитная откровенность, натуральность и прямота. Он никогда не боялся ни мыслей, ни слов, в выражениях не стеснялся, наибольшее удовольствие получал от разрухи жеманства и лжи, отвечая тем самым настрою своего поколения («уязвленная брань — доказательство чувства»).

---

Колоссальнейшая эпоха!  
Ходят на поэзию, как в душ Шарко,  
даже герои поэмы «Плохо!»  
требуют сложить о них «Хорошо!».  
*«Разговор с эпиграфом»*

Научно-технические обмены  
отменны.  
Посылаем Терпсихору —  
получаем пепси-колу.  
*«НТР»*

Руками ешьте даже суп,  
но с музыкой — беда такая!  
Чтоб вам не оторвало рук,  
не трожьте музыку руками!  
*«Правила поведения за столом»*

Одним это неслыханно интересно, другим — скучно. Первых явное большинство. Со стороны критики доносились упреки в пошлости, в разболтанности стиха, в отсутствии вкуса — хорошего, конечно. Но вот что поразительно: несмотря на крайнюю необычность формы («меня пугают формализмом»), перегруженность ее избыточными метафорами, напряженными инверсиями, путь этой поэзии к читателю короток, прям и насущен, как железная дорога и Аэрофлот. «Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот — Аэропорт!»

Эта поэзия отрастила не только глаз, но и язык, чрезвычайно способный к живым, но причудливым, подчас непереносимым для пуританского слуха, повседневным языкам поколения, протестующего против красивой и некрасивой

---

лжи, надувательской юности и всякой житейской туфты, особенно в области духа («Но все-таки дух — это главное. Долой порнографию духа!»). Острый язычок поколения — острый язычок поэзия Вознесенского. Острый — несмотря на (и даже благодаря) нарочитой упрощенности, плебейской смачности его свежей, только что испеченной корки, которой так радостно похрустывать к неудовольствию блюстителей хрестоматийности, крепко забывших, что все славные наши традиции непременно были когда-то новаторством. «Какое время на дворе — таков мессия».

Жил огненно-рыжий художник Гоген,  
богема, а в прошлом — торговый агент.  
Чтоб в Лувр королевский попасть  
из Монмартра,  
он дал  
кругаля через Яву с Суматрой!  
Идут к своим правдам, по-разному храбро,  
червяк — через щель, человек — по параболе.  
Сметая каноны, прогнозы, параграфы,  
несутся искусство,  
любовь  
и история —  
по параболической траектории!

Хоть с точки зрения классической грамматики нельзя попасть в Лувр «сквозь главный порог», главную мысль Вознесенского все же правильно поняли его непедантичные многочисленные читатели. Поняли и полюбили — не за свежесть и новизну, а за своевременность и со-

---

временность. За энергию голой правды, голого чувства и голого слова («Мир хочет голого, голого, голого!»), отнюдь не лицеприятного для многих его современников, читателей и даже слушателей в Политехническом:

Ура вам, дура  
в серьгах-будильниках!  
Ваш рот, как дуло,  
разинут бдительно.  
Ваш стул трещит от перегрева.  
Умойтесь! Туалет налево.

Это еще что! Слабовато! Начни я приводить примеры подобного воспевания антигероев Вознесенского, собралась бы внушительная антология.

Но нравственные прогнозы этой поэзии оптимистичны.

Человек на 60% из химикалиев,  
на 40% из лжи и ржи?  
Но на 1 % из Микеланджело!  
Поэтому я делаю витражи.

---

Победит Чело, а не число.

---

Есть русская интеллигенция.  
Вы думали — нет? Есть.  
Не масса индифферентная,  
а совесть страны и честь.

---

При всем уважении к коромыслам  
хочу, чтобы в самой дыре заваливающей  
был водопровод  
и движенье мысли.

---

Есть пороки в моем отечестве,  
зато и пророки есть.

Соединение полярных электродов — вспышка, один из обычных приемов этой необычной поэзии. «Независимо от работы нам, как оспа, привился век», а разобщенность, царящая в нем, и чувство всеобщности — энергетические источники поэзии Вознесенского, поскольку он сам к ним подключен изначально и постоянно, питаюсь противоречиями и парадоксами злободневности, как поэт с очень активной гражданской позицией.

Одинокий мужчина  
меняет машину  
в центре Пушкинской площади  
на «Жигули» той же площади,  
но в районе Крымского моста.

---

Поглядите в глаза дочерние,  
что за джунглевые в них чайня? —  
В век всеобщего обучения —  
частный рост одичания.

---

Мир мраку твоему.  
На то ты и поэт,  
что, получая тьму,  
ты излучаешь свет.

---

Поэт умирает —  
погибла свобода.  
Погибла свобода —  
поэт умирает.

---

И мне навстречу из Калуги  
летели в отблеске луны  
в рули вцепившиеся люди —  
как в абсолютные нули.

Все стихи личные, все — автобиографичны, несмотря на феерические порой сюжеты, где трагизм уживается с водевильностью, как в «Новогодних ралли-стоп» или в поэме «Вечное мясо». Это не значит, что герои Вознесенского идентичны его личности. Но личность автора и его судьба как жизненный и творческий путь прочитываются в каждой вещи.

Декларативность, плакатность — тоже топливо этой поэзии:

Или ты — черевичный сапожник,  
или ты — чечевичный художник,  
гений или дерьмо.



---

Страною заново открыты  
те, кто писали для элит.  
Есть всенародная элита,  
она за книгами стоит.

А что и говорить о спрессованности метафор, о сложном сгущении красок, о калейдоскопе метаморфоз, переходящих в узоры абстракций, о страшных скоплениях интимных страстей — об этих видах горячего в атмосфере, где поэт и читатель так близки, что «человек — не в загадке плазмы, а в загадке соблазна» и «соболезнуй несоблазненным», но «долой порнографию духа!», «не горло — сердце рву!»

Вознесенский сравнивал свой автопортрет с аэропортом, с ретортой неона, а мотоциклистов в белых шлемах — с дьяволами в ночных горшках, и это у него «седые и сухие от мороза розы черные коровьего навоза», «треугольная чайка замерла в центре неба, белая и тяжело дышащая, — как белые плавки бога», «короткая, как вертикальный штопор, открытый из перочинного ножа, стояла замерзшая Душа. Она была похожа на поставленную торчком винтообразную сосульку», а нимфы поют: «Я 41-я на Плисецкую, 26-я на пледы чешские, 30-я на Таганку, 35-я на Ваганьково, кто на Мадонну — запись на Морвокзале...»

Андрей Вознесенский — художник, чующий остро пространство и время («Какое несимметричное Время!», «Все прогрессы реакционны, ес-

---

ли рушится человек!»), у него — долгий и страстный роман с колоссальным читателем, и Вознесенский энергетически делает все возможное, чтобы этот читатель («я ощущаю нечто, надевшее меня») к нему не остыл:

Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить.  
Вечная память.

«Мало быть рожденным, важно быть услышанным» — это из поэмы «Андрей Полисадов», опубликованной в первой книжке журнала «Новый мир» за 1980 год. Поэма-история посвящена демократическим чувствам поэта, вере в добрую волю, в неистребимость человеческих доблестей, целомудрия и гуманизма. А целомудрие («обязанность стиха — быть органом стыда») и гуманизм — два мощных источника энергодобычи, если они во владенье поэта.

Чтите целомудренность отношений.  
Не читайте почты, вам не адресованной,  
не спугните чувства вашего резонами.  
Там нельзя охотиться, там стоял Суворов,  
соловьи обходятся без суфлеров.  
Мудрость коллективная хороша методую,  
но не консультируйте, как любить мне Родину.  
(И когда усердные патриоты мнимые  
шлют на нас публичные доносы анонимные,  
просто из брезгливости природной  
не полемизирую с оборотнем.)  
У любви нет опыта, нету прегрешения,  
только целомудренность отношения.

---

Замечательны эпиграфы к отдельным главам поэмы и комментариев. Сюжет хронологически далек от современности, но ближе близкого психологически, и опять-таки автобиографичен — не потому, что речь идет о непосредственном предке поэта, а потому, что такова сила этой поэтической манеры с ее незамаскированностью, без фиги в кармане, без невнятной аморфности. «Живу я, как пою, — пою я, как умею».

Плох тот поэт, который не обманул ожидавший и дал точно то, что обещал в юности. Значит, он лишен сильнейшего чувства — чувства пути. Точка зрения поэта — не традиционная система, а исключительно личный опыт. Тем более мастерство поэта.

Физический и духовный мир поэзии Андрея Вознесенского насыщен мощными биотоками на всем пластическом пространстве — от конкретной, телесной природы («во сне надо мною дымился вспоротый мощный кишечник Сикстинского потолка») до абстрактных узоров час пик и видений австралийского аборигена. В «Портрете Плисецкой» Андрей Вознесенский прямым текстом говорит о своем эстетическом кредо: «у художника — все нешуточное», «мускульное движение переходит в духовное», «формалисты — те, кто не владеет формой. Поэтому форма так заботит их».

С точки зрения ссылок на вечность, законы которой якобы известны критикам, Вознесенский весьма уязвим, он умеет дразнить блюстителей правил поэтического движения, и это он тоже делает энергично:

---

Дорогие литсобратья!  
Как я счастлив оттого,  
что среди общей благодати  
меня кроют одного.  
Как овечка черной шерсти,  
я не зря живу свой век —  
оттеняю совершенство  
безукоризненных коллег.

Или в ответ дерзит напоказ, что совершенно естественно психологически:

Когда по Пушкину кручинились миряне,  
что в нем не чувствуют былого волшебства,  
он думал: «Милые, кумир не умирает.  
В вас юность умерла!»

Если поэта можно без конца обсуждать, значит, нет к нему равнодушия и его присутствие конкретно связано с нашим сознанием и волнует, влияет, влечет.

Борис Пастернак сказал: «Быть знаменитым — некрасиво».

Но Андрей Вознесенский о себе такого не говорил, он поэт иного склада и замысла, иного самочувствия, иного пути, иного потока сознания и совершенно конкретной части совершенно иного поколения, у которой есть право на свои взаимоотношения со славой и на свое понимание пропорций «знаменитости» и художественных достижений.

Лицо, искаженное духовным усилием, — лицо поэта, и оно всегда выразительней аморфной

---

бесформенности, которая не вызывает так много нареканий, и по случаю даже удостоивается похвалы.

Вознесенский — дитя райка, НТР, книжного бума, века мировых стандартов и мировой отчужденности, века всемирных контактов и межпланетных полетов, материального и духовного сверхбогатства и сверхбедности, кризисов общественных и личных сознаний, поисков самодостаточности и гуманизма в скоротечно гибнущих недрах земной природы. И, конечно, дитя Москвы, Архитектурного и Политехнического. Тем он и интересен, что все разом в его стихах, пожирающих столько топлива. Нужна очень мощная энергетика, чтобы так писать и держать в напряжении такого огромного читателя, какой в настоящее время у Андрея Вознесенского.

1981

## ПОЭТ И ПАМЯТЬ

Нью-Йоркский отель «Челси» — антибуржуазный, наверное, самый несуразный отель в мире. Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чугунными решетками галерей — даже, кажется, угольной гарью пахнет. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат.

Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Лидер рок-группы «Секс пистолс» здесь или зарезал,

---

или был зарезан своей любовницей. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги. Это стиль жизни целого общественного слоя людей, озабоченных социальным переустройством мира, носящих полувоенные сумки через плечо и швейцарские офицерские крестовые красные перочинные ножи. Здесь квартирует Вива, модель Энди Уорхола, подарившая мне, испугавшемуся СПИДа, спрей, чтобы обрызгать унитазы и ванную.

За телефонным коммутатором сидит хозяин Стенли Барт, похожий на затурканного дилетант-скрипача не от мира сего. Он, по рассеянности, вечно подключает вас к неземным цивилизациям.

В лифте поднимаются к себе режиссеры подпольного кино, звезды протеста, бритый под ноль бакунинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках из золотого позумента и пиджаках, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси.

Обитатели отеля помнили мою историю.

Для них это была история поэта, его мгновенной славы.

Он приехал из медвежьей снежной страны, разоренной войной и строительством социализма.

Сюда приехал он на выступления. Артур Миллер, уехав на месяц, поселил его в своем трехкомнатном номере в «Челси». Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с полом, застеленным серым войлоком. Далее следовала спальня.

---

Началась мода на него. Международный город закатывал ему приемы, Джекки, первая дама страны приглашала на чай, посещала его концерты. Звезда андеграунда, режиссер Ширли Кларк затеяла документальный фильм о его жизни. У него кружилась голова.

Эта европейка была одним из доказательств его головокружения.

Она была фоторепортером. Порвав с буржуазной средой отца, кажется австрийского лесовика, она стала люмпеном левой элиты, круга Кастро и Кортасара. Магниева вспышка подчеркивала ее близость к иным стихиям. Она была звездна, стройна, иронична, остра на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна. Она влетала в судьбы, как маленький солнечный смерч восторженной и восторгающей энергии, заряжая напряжением не нашего поля. «Бабочка-буря», — мог бы повторить про нее поэт.

Едва она вбежала в мое повествование, как по страницам закружились солнечные зайчики, слова заволновались, замелькали. Быстрые и маленькие пальчики, забежав сзади, зажали мне глаза.

— Бабочка-буря! — безошибочно завопил я.

Это был небесный роман.

Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. Хотя он и подозревал, что она не всегда пользуется услугами самолетов. Тогда в сентябре из-за гроз аэропорт был



*С Жаклин Кеннеди*



*С Ингой Фельтринелли*



---

закрыт, она как-то ухитрилась прилететь и полдня сушилась.

Ее черная беспечная стрижка была удобна для аэродромов, раскосый взгляд вечно шурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. Ее тонкий нос и нервные, как бусинки, раздутые ноздри говорили о таланте капризном и безрассудном, а чуть припухлые губы придавали лицу озадаченное выражение. Она носила шикарную скроенную одежду из дешевых тканей. Ей шел оранжевый. Он звал ее подпольной кличкой Апельсин.

Для его суровой снежной страны апельсины были ввозной диковиной. Кроме того, в апельсинном горьком запахе ему чудилась какая-то катастрофа, срыв в ее жизни, о котором она не говорила и от которого забывалась с ним. Он не давал ей расплачиваться, комплексуя со всей валютой.

Не зная языка, что она понимала в его русских рифмах?

Но она чуяла за иступленностью исполнения прорывы судьбы, за его романтическими эскападами, провинциальной неотесанностью и развязностью поп-звезды ей чудилась птица иного полета.

В тот день он получил первый аванс за книгу. «Прибарахлюсь, — тоскливо думал он, возвращаясь в отель. Куплю тачку, домой гостинцев привезу».

В отеле его ждала телеграмма: «Прилетаю ночью тчк, апельсин». У него бешено заколотилось сердце.

---

Он лег на диван, дремал. Потом пошел во фруктовую лавку, которых много вокруг «Челси». Там при вас выжимали соки из моркови, репы, апельсинов, манго — новая блажь большого города. Буйвологлазый бармен прессовал апельсины.

— Мне надо с собой апельсинов.

— Сколько? — презрительно промычал буйвол.

— Четыре тыщи.

На Западе продающие ничему не удивляются. В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашел еще в две.

Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжкие картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы «Челси», вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруктовая сделка. Он отключил телефон и заперся.

Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя головой, в черном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.

Он открыл ей со спутанной прической, в растегнутой, полузаправленной рубаше. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. Ее лицо сразу осунулось. Сразу стала видна паутинка усталости после полета. У него кто-то есть! Она сейчас же развернется и уйдет.

Его сердце колотилось. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо и безразлично сказал:

— Проходи в комнату. Я сейчас. Не зажигай света — замыкание.

---

И замешкался с ее вещами в полутемном предбаннике. Ах так! Она еще не знала, что сейчас делает, но чувствовала, что это будет что-то страшное. Она сейчас сразу все обнаружит. Она с размаху отворила дверь в комнату. Она споткнулась. Она остолбенела.

Пол пылал.

Темная пустынная комната была снизу озарена сплошным раскаленным бульжником пола.

Пол горел у нее под ногами. Она решила, что рехнулась.

Она поплыла.

Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая. Из некоторых вырывались язычки пламени. В центре подпрыгивал одинокий стул, будто ему поджаривали зад и жгли ноги. Потолок плыл алыми кругами.

С перехваченным дыханием он глядел из-за ее плеча. Он сам не ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на карачках укладывал эти чертовы скользкие апельсины, как через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранжевого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучиной, чтобы не раздавить их, зажигал свечи. Пламя озаряло пупырчатые верхушки, будто они и вправду раскалились. А может, это уже горели апельсины? И все они оранжево орали о тебе.

Они плясали в твоём обалденном черном про-

---

ливном плаще, пощечинами горели на щеках, отражались в слезах ужаса и раскаянья, в твоей пошатнувшейся жизни. Ты горишь с головы до ног. Тебя надо тушить из шланга!

Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жизни не было и не будет такого. Через пять, десять, через пятнадцать лет ты так же зажмуришь глаза — и под тобой поплывет пылающий твой единственный, неугасимый пол. Когда ты побежишь в другую ванную, он будет жечь тебе босые ступни. Мы горим, милая, мы горим. Мы дорвались до священного пламени. Уймись, мелочное тщеславие Нерона, пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-арта!

Это отмщение ограбленного эвакуационного детства, пылайте, напрасные годы запоздавшей жизни. Лети над метелями и парижками, наш пламенный плот! Сейчас будут давить их, кувыркаться, хохотать в их скользком, сочном, резко пахучем месиве, чтоб дальние свечки зашипели от сока...

В комнате стоял горький чадный зной нагретой кожи. Она покосилась, стала оседать. Он едва успел подхватить ее. Клинический тип, — успела сказать она. — Что ты творишь! Обожаю тебя...

Через пару дней невозмутимые рабочие перестилали войлок пола, похожий на абстрактный шедевр Поллока и Кандинского, беспечные обитатели «Челси» уплетали оставшиеся апельсины, а Ширли Кларк крутила камеру и сообщала с уважением к сексуальным обычаям других народов: «Русский дизайн».

---

## ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ СЕРДЦЕ ВИОЛОНЧЕЛИ

Бесконечный, астрально высокий и низко бреющий смычок разрезает нашу жизнь надвое.

Я запомнил его в иссиня-черном, мохнатом пальто-бобрик, похожим на отяжелевшего шмеля, неуклюжего и одновременно летучего, подобно полету смычка в его шефских концертах. Париж? Сыктывкар? Сен-Готар? Сен-Санс?

Его виолончель упирается в пол острым мысиком, повторяя, снизу, очертания сердца.

Попробуйте собирать музыку с медвяного клевера, когда все цветы полны радиацией...

Мы встречаемся с ним обычно ночью. Так уж случается. Первую ночь помню во Владимире, куда мы приезжали с «Поэторией». Он гудел. Гудело послеконцертное пиршество. Столы ломились от тостов. Р. Щедрин, М. Плисецкая, Л. Зыкина, бледный дирижер, с испариной на лбу, хормейстеры, звезды оркестра, солисты хора, местные светила после духовной самоотдачи концерта отдавались языческой, земной стихии. Языковая сочность, в иные часы показавшаяся бы вульгарной, как голая плясунья, отплясывала на столе, поражая онемевших хористов. Олимпийцы отдыхали.

Но самым мощным сгустком бытийственной гудящей энергии был он, летучий увалень, раблезианец в иссиня-черном фраке, с подвижным лицом, округлым мраморным подбородком и острым носиком. Все называли его «Слава». «Две бутылки «Пше-

---

ничной» убрал», — восхищенно шепнула про него первая скрипка.

Так мы познакомились с Ростроповичем. Он страстно доказывал мне что-то о фресках и о каких-то бесхозных трубах, которые видел по дороге из Москвы и которые надо бы пристроить.

Уезжали мы поутру. Слава стоял на балконе и, обтирая торс мохнатым полотенцем, свежий, как стеклышки очков, читал нам вслед на память стихи.

Гений и фигура Ренессанса, он легко носил на плечах фрак любимца вельмож, баловня народа, позванивая наградами, ведя свою опасную партию уверенно и виртуозно. Думаю, он первый из музыкантов, обычно аполитичных, бросил вызов Системе, заступившись за судьбу литературы — поставив на карту свою судьбу. Покорив мир, заполнив звуковое пространство планеты волшебством своего смычка и дирижерской палочки, он стал коллекционировать дома — в Европе, в Америке, заполняя их спасенными им шедеврами русской культуры. Помню ночь в его парижской гигантской квартире. Он тогда уже был запретной фигурой, невозвращенцем. Встречи наши по традиции оставались ночными, главным образом потому, что во время поездок дни забиты до предела, да и он приглашал ночью, он берег нас, не желая компрометировать гостя приездом в дом к «врагу народа». Он-то знал, что такие встречи не поощрялись. В ночи же есть тайна.

Беседы шли в обществе портретов Рокотова, Брюллова, Христа кисти А. Иванова, портрета Пет-

---

ра I, копия которого находится в Эрмитаже. Да и сам хозяин и хозяйка редкой красоты и гневной стати были такими же шедеврами русской культуры.

На окнах с пуленепробиваемыми стеклами висели кружева с романовскими орлами, на малахитовых столах лежали кубки первых самодержцев, хозяин доставал и зачитывал царские грамоты и письма Солженицына, водил полюбоваться финской баней, которую выстроил в особняке парижского рококо, опускал в прохладу погреба, где шпалерами лежали горизонтальные ряды Бордо под номерами. Глядел Николай II кисти Серова...

Вензеля с коронами на столовых приборах прислушивались к разговору. Говорили о многом. Хозяин спустился в погреб за новой бутылкой. Вдруг в передней раздался звонок. В прихожей засуетились. В обеденный зал вошел Л.И. Брежнев. Он приехал без сопровождения. Они с Ростроповичем были знакомы по Москве. Генсек сразу оценил обстановку и занял место тамады. Он поднял тост за хозяйку, потом за гостя. У меня пересохло в горле. Я читал в газетах, что ожидается визит в Париж, но думать было некогда — тост с легкой задержкой речи обращался ко мне.

Сначала слова были невразумительны, но добры, потом в них стала нарастать угроза. «Душно», — сказал Брежнев, снял с головы резиновую, как у Фантомаса, маску и оказался хохочущим и потным от резины Славой. Такие пластиковые маски продавались

---

в магазинах. Шутка была озорной и страшной — это был год Афганистана.

Врезался и другой эпизод — венчание его дочери. Слава и Галя стояли в русской парижской церкви; он, схожий с вельможей прошлого века, — в смокинге, в муаровых лентах и звездах всех держав (советские ордена и медали отняли на границе) она — стройная боярышня в бриллиантовом уборе и в приталенной собольей шубке. По православному обычаю они встали на колени.

Как он любит ее!

В апартаментах вашингтонского отеля «Уотергейт» они показывали фотографии своего нового имения «Галина», звали погостить. Слава так назвал это место в честь Г. Вишневской и добился того, чтобы это наименование вошло в карты США.

«Купил я этот замок тайно от Гали. Наступает ее день рождения. Говорю — надоело все, махнем куда глаза глядят. Едем — уже темно кругом, какая-то дорога, есть хочется. Галя злая. Вдруг свертка и огоньки вдали. Свернем? Может, харчевня там? Подъезжаем. На воротах пылают иллиминированные буквы «Галина». Веду к замку: «Принимай подарок, Галина...»

Галя шепнула мне: «Я, конечно, обо всем знала. Он так шустрил с какими-то бумагами, так темнил. Но я и виду не показала...» Галина понимает поэзию в жизни.

В отличие от многих музыкальных собратьев их августейшая пара глубоко образованна. Они просят читать новые стихи, думаю, не только из вежливо-



---

сти. Как-то я прочитал им «Не трожьте музыку руками». Хозяева вежливо выслушали, но мягко сказали: «Ну, это известное, а что-то новое?» Тогда я им прочитал: «Мы были — трубы...» Это было и про них, они были почти первыми слушателями.

Когда Слава, слегка опоздав, вошел в нью-йоркский шекспировский театр Джо Папа на мой вечер, я в честь его объявил «виолончельные стихи». Зал его приветствовал.

В нем нет сальеризма. Будучи, без сомнения, гением, он не плачется о своих трагедиях, он смачно угощает вас анекдотом, рассказывает байки про своих собачек, обкакавшихся, когда он их тайно вез в первом классе «Боинга», приняв их грех на себя.

Полжизни он проводит в авиасалонах, порой читая партитуры в небе. Он — каторжный труженик. Философ, великолепный менеджер, он мог бы быть президентом гигантского концерна, мог бы быть президентом какой-нибудь страны, но он посвятил себя русской, а значит, и мировой культуре, именно он берет не доступную никому в этом мире духовную смычковую ноту.

Все слышат его астральный смычок. Я же попытался просто документально отснять несколько видеоклипов, набросков его живых встреч. Именно этого Славы во плоти, шумного, заразительно хохочущего, с озадаченными очечками, так не хватает сегодня среди нас.

Как не хватает сегодняшней стандартной жизни волшебного деревянного сердца его виолончели!

---

## ПОЭТ И УСАДЬБА

Пробегаю по ЦДЛ, по Дубовому залу, потом по Пестрому, где испытанные остряки писали на стенах, по залам памяти, где гудит процесс литературы, где сопит Юра Казаков, где Толя Гладилин, запыхавшись после пинг-понга, подсел к Володе Максимову, там силач Коля Глазков обнимает вас так, что косточки трещат, там трапезничают Юра Трифонов, Дэзик Самойлов, машинистка Таня, там за столиком маячит Инна Лиснянская, взрывная, библейски эротичная, и тишайший Семен Израилевич Липкин, один из прародителей Союза писателей (они потом героически выйдут из Союза)... Из подвала вылезает Игорь Шкляревский, весь в биллиардном мелу. Там тень Домбровского, душа Светлова — или душа дома? — горько усмехаясь за столиком, курит и стряхивает пепел в рюмку. Их души, судьбы или, как принято говорить, энергетическое поле въелось в панели и витые балясины Дубового зала.

Когда-то зал был ложею масонской...

Партком же, проводя свои заседания, так и не расшифровав в силуэте деревянной балконной решетки изображения двуглавого орла.

А на витой колонке бесстрастно отсвечивает скульптурное девичье личико деревянного ангела ЦДЛ. Эта девочка — Маша Олсуфьева, графинюшка, последняя владелица нашего дома.

---

Я довольно хорошо знал Марию Васильевну. Аристократически стройная, сухопарая, она жила с дочерьми в своем палаццо во Флоренции, переводила прозу Пастернака и Солженицына и делала «литерал», подстрочный перевод для моей первой книги в издательстве Фельтринелли.

Фельтринелли, понизив голос до шепота, сказал: «Мы пригласили для Вашей книги саму графиню — она лучший знаток русской литературы».

Графиня стоически перенесла слова «лажа», «а на фига?» в моих текстах. Дочь ее была своей для молодежной вольницы, водила меня к «ангелам грязи». Как-то среди работы Мария Васильевна обронила: «У меня есть дом на Поварской...»

Много лет спустя, когда табу на нее ослабло, М.В. Олсуфьева побывала в Москве. Я пригласил ее обедать в ЦДЛ. «Это же мой дом», — остолбенело оглядывалась гостя. Мы сели под колонкой с ее детским личиком. Их профили совпадали.

«Я хотела бы взглянуть на свою детскую. Где я спала.

Это здесь, за дверьми, на первом этаже!...»

Ее лицо озарилось, стало страшно похоже на детское личико барельефа. Рука ее затрепетала. Как, наверное, сердце ее сжалось...

«Что там сейчас?»

На дверях детской спальни поблескивала табличка «Партком».

---

Официантка Тамара, по-бабьи подперев подбородок, глядела из-под челочки на слезы хозяйки.

Впрочем, для нас не было ни служащих, обслуги, ни официанток — все были нашей семьей, служительницы ЦДЛ были жрицами не только жратвы, но и литературы.

Здесь же рядом находились комнатухи литературных секций, и из своих кабинетов феи ЦДЛа — эти тихие вершительницы культурных событий — дуря официоз, устраивали литературные вечера...

## ПОШЛИ МНЕ ГОСПОДЬ ВТОРОГО



*Когда Сталину предложили создать городок писателей, он не стал возражать. Напротив, идея эта показалась вождю очень своевременной — за писателями будет намного легче присматривать. Максим Горький лично выбирал место, найдя его по старой летописи, где указывалось, что Переделкино стоит на судоходной реке Сетунь. Но даже 75 лет назад, в августе 1935 года, первые поселенцы, въехав на свои дачи, не обнаружили поблизости никакой реки. Только широкий ручей с одноименным названием. На улице Павленко живет Вознесенский, на улице Гоголя — Евтушенко.*



---

## ПЕСНЯ АКЫНА

Не славы и не коровы,  
не тяжелой короны земной  
Пошли мне Господь второго,  
чтоб вытянул петь со мной,

Прошу не любви ворованной,  
не милости на денек,  
Пошли мне Господь второго,  
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,  
аукаться через степь,  
Для сердца, не для оваций,  
на два голоса спеть.

Чтоб кто-нибудь меня понял,  
не часто, ну хоть разок,  
Из раненых губ моих поднял  
царапанный пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,  
забыв, что мы сила вдвоем  
Меня, побледнев от соперничества,  
прирежет за общим столом.

Прости ему, он до гроба  
одиночеством окружен,  
Пошли ему Бог второго,  
такого... как я и он.

---

«Вознесенский — мастеровитее, зато Евтушенко, кажется, все-таки больше любит и понимает поэзию, что-то искреннее нет-нет, да и мелькнет в его глазах. Зато Евтушенко снимает отвратительные фильмы. Зато Вознесенский написал про «Миллион-миллион алых роз». Зато Евтушенко... Зато Вознесенко... Пастернак написал в «Живаго», что Маяковский напоминает ему молодых героев Достоевского...» (из Интернета)

*Олег Хлебников*

## О ВОЗНЕСЕНСКОМ

Время их совместных выступлений на стадионах и в Политехническом давно прошло. Евтушенко остался Политехническому верен. Вознесенский предпочитает Зал Чайковского. Увидеть их вместе уже кажется невозможным. Молодость любит находить общее. Зрелость настаивает на индивидуальном. Пути, когда-то начавшиеся в одной точке, чем дальше, тем больше расходятся. Тем более поэзия — дело одинокое. И все же отзвук ей, как воздух, необходим. Она даже рифмами на этом настаивает. И, конечно, хочется, чтобы тебя услышали прежде всего те, кто умеет слышать стихи. Значит, в первую очередь — собратья-поэты. Ну а если еще и ответят — это уже событие. Сегодня мы при таком событии присутствуем. И рады, что оно состоялось на страницах «Новой». В № 14 от 24 февраля мы опубликовали новое стихотворение Евгения Евтушенко, посвященное Ан-



*Знаменитая четверка.*

*Фото из журнала «Огонек» времен В. Коротича*

дрею Вознесенскому и общей юности. Андрей Андреевич его прочитал, послание услышал и, как позже выяснилось, в тот же день написал ответ. Который и передал в нашу газету.

*«Новая газета» 03.03.2005*

## **ДИАЛОГ ПОЭТОВ**

*Евгений Евтушенко*

**НА «ХВОСТЕ»**

*Андрею Вознесенскому*

Хотел бы я спросить Андрюшу,  
а помнит ли сегодня он,  
как мы с ним жили душа в душу  
под звуки собственных имен.

---

Они в божественном начале,  
не предвещающем конца,  
так упоительно звучали  
в метро, в общагах, у костра.  
Встречали нас в таком восторге  
в Москве ветровки, гимнастерки,  
и джинсы рваные в Нью-Йорке,  
где тоже ждали перемен  
веснушки как глаза колен.

В стихах был свежий привкус утра,  
а имена гремели столь  
неразлучаемо, как будто  
свободы сдвоенный пароль.  
Но та свобода двух мальчишек  
была, чтоб не был в ней излишек, —  
под взглядами не снятых с вышек  
гулаговских прожекторов.  
Стучали кулачищем свыше.  
Сдирали со щитов афиши.  
Шуршали в уши, словно мыши:  
«Не наломайте лишних дров!».

Мы их ломали непрерывно,  
и как там с нами ни воюй,  
бесстрашны были и наивны,  
и так раскованно порывны,  
словно рискованные рифмы,  
с губ, где не высох поцелуй.



---

А помнишь, вышли мы от Гии  
Данелии — совсем другие,  
чем иногда теперь, когда...  
Забудем. Главное — Тогда.  
Итак, мы вышли. В ночь. От Гии.  
Ночь была тоже молода,  
и ей, как нам, вовсю хотелось  
в какую-нибудь завертелость  
и безо всякого стыда.  
Да и нечисты все стыды,  
когда здесь Чистые пруды.

Мы оба, чтоб с народом слиться.  
листали всю тебя, столица,  
сначала ноги, после лица,  
ища подружек «на авось»,  
но отыскать не слишком строгой,  
интеллигентно длинноногой,  
родной души не удалось.  
Мы уходились. Шли устало.  
Но приключенье не настало.

А мимо шла «Аннушка» неутомимо,  
не та, что с маслом тем коварным, —  
а занятый трудом ударным,  
заблудший на кольце бульварном  
ночной трамвай под буквой «А»,  
с облезло красными боками  
и дребезжащими звонками —  
родная женская душа,

---

единственная, кто в ту ночь  
хотела нам двоим помочь.

А кто-то выглянул в окно,  
глотаю тряское вино,  
и, басом пошатнув трамвай,  
нам прохрипел: «Ребя, давай!»  
«А ну догоним и — на хвост!» —  
воскликнул я, легко, как тост,  
тем более, что нам Булгаков  
отеческих не сделал знаков.  
И понеслись мы через шпалы  
во все, нас ждущие, опалы,  
и, будто нас пожар прожег,  
на буфер сделали прыжок.

И вдруг — аж слышать мог Урал,  
гимн репродуктор заиграл!!!

Как жаль, что нас не видел Гия,  
когда, одетые вполне,  
мы, как два мальчика нагие  
на красном взмыленном коне,  
тряслись под утро вместе с гимном  
на том хвосте гостеприимном  
в полупроснувшейся стране.

Потом, как водится в России,  
в трамвай нас люди пригласили  
и «Три семерки» из горла  
нам родина преподнесла.

---

Автобусники. После смены.  
С Марьиной Рощи. Джентльмены.  
Сказали: «Мы не за рулем.

Есть вобла. Может, вобланем?»  
Один, глядящий всех бодрей,  
мне вдруг сказал: «Ведь ты Андрей?»  
А кореш в несколько мгновений  
Андрея разглядел: «Евгений?»

Мы, распрощавшись, хохотали,  
как мы с тобой друг другом стали.  
А что случилось после с нами, —  
наверно, это мы не сами.  
Мы сами — это только те  
у «Аннушки», на том хвосте...

*18 февраля 2005 г.*

*Андрей Вознесенский*

### **ПЛАЧ ПО БРАТКУ**

*Ответ Евгению Евтушенко*

А у Межирова был шмалер.  
Помнишь? Женщина. Барток. Снежок.  
Усмехнувшись в предсмертной марле,  
ты немного сбледнул, браток.

Мы, поэты, всегда повинны,  
поэтические братки...

---

Небо спело нам половину,  
не задев ключевой строки!..

И снежок, точно запах винный,  
не выветривается из башки.

Наказуемы высшей мерой,  
агрессивно храня успех,  
Мы, поэты, как агасферы,  
видим ужасы дольше всех.

Помнишь, Женя? Ты помнишь, помнишь!  
Свет лирических снежных лиц.

И кепарь твой раскраски пончо  
звал на помощь всех фельдшерлиц!

Мы различны, пути отдельны,  
разный шьют на нас компромат:  
«Этот ходит хромой как демон,  
тот башкой чуток захромал».

Утомляемы пасторалью,  
люди радуются опять:  
«Если Божий дар потеряли,  
значит, было что потерять!»

Но останутся не экраны  
и не выходы за флажки.  
Лишь слеза над башкой братана,  
больше нету такой башки.

*24 февраля 2005 г.*



*Мы с Василием Аксеновым*

**ИЗ ИНТЕРВЬЮ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА  
«НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ» 17 ДЕКАБРЯ 2004 г.**

*— Видите ли вы в современной литературе себе соперника — того, кто вам под стать?*

— А как же, есть хорошие писатели вокруг. Вы хотите, чтобы я назвал пофамильно? Не хотелось бы кого-нибудь обидеть... Ну хорошо. Андрей Битов — вот большой тоннаж. Владимир Маканин — очень серьезный писатель. Анатолий Найман переживает подъем в своей прозе, которая по характеру напоминает прозу Трифонова. Евгений Попов опубликовал блестящий рассказ в журнале «Наш очевидец», отличную повесть «Мастер Хаос». Достоин внимания роман Светланы Васильевой «Превосходные люди». Очень интересно работает Александр Ка-

---

баков, его последний роман «Все впереди» — очень серьезно, очень достоверно, с фейерверком деталей. Как одевались, что ели в 50-х, на каких коньках катались дети... Ощущение материальной культуры — редкая вещь. Очень интересен эзотерик и сюрреалист Анатолий Королев, которого почему-то не замечают. Его давняя статья о сходстве Булгакова и Сталина — это очень любопытно и неожиданно и в точку. Я даже использовал ее, когда читал в американском университете курс литературы. Все лучше и лучше пишет Андрей Вознесенский, несмотря на то, что неважно себя чувствует. Его ощущение слова, игра словом, мысль, появляющаяся из этой игры, колоссальная изобретательность — просто удивительны. Он — последний живой футурист.

Русская литература при всех наших стеланиях очень разнообразна, и несправедливо ее третировать как провинциальную. Еще Велимир Хлебников сказал: «Что ново там — то здесь не ново». Я со всей ответственностью заявляю: ни в одной стране мира периодика не уделяет такого внимания литературе и искусству — даже до слегка истерической ноты, как здесь, в России.

*— Евтушенко говорит, что вы и Андрей Вознесенский вставляли ему палки в колеса, когда он затевал молодежный журнал в конце шестидесятых, писали какие-то письма в ЦК...*

— Я на это даже отвечать не буду. Он все переворачивает с ног на голову. У меня дружба осталась, например, с Гладилиным. Мы ближайшие друзья с Ахмадулиной, Вознесенским. А вот с Евтушенко почему-то не друзья.

## **БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТЫ**

*(Из статьи в М.К. 2005 год)*

Высотный дом у подножья Таганского холма приютил не только Твардовского, но и поэтов, годившихся ему в сыновья. Я имею в виду Вознесенского и Евтушенко. Их звезда зажглась после смерти Сталина. Под гром оваций в пору «оттепели» они читали стихи на стадионах, площадях, в переполненных залах.

Их печатали газеты и журналы, переводили во всем мире. Принимали президенты и премьеры.

Ни Блок, ни Есенин ничего подобного не испытали. Маяковский безнадежно мечтал, чтобы о его стихах делал доклады на Политбюро Сталин. Ему свистели в зале. Он застрелился после провала юбилейной выставки, не найдя взаимности у государства. Мандельштама оно сгноило в лагере. Цветаеву довело до петли. Ахматову и Пастернака травило.

Прижизненной славе поспособствовал микрофон. Благодаря микрофонам они могли витьствовать в Лужниках, Дворце спорта на четырнадцать тысяч зрителей, у памятника Маяковскому. (Булату и Высоцкому, которого не печатали, хоть ты убей, помогли магнитофоны.)

Талантом не обижены многие поэты второй половины XX века. Небывалой популярностью Вознесенский и Евтушенко обязаны не только уникальному дару, но и тому, что точнее других попадали в силовое поле общест-

---

венного ожидания, того, что называют сейчас английским словом «мейнстрим». Когда попадания нет, происходят творческие драмы. (Позволю привести пример из собственного опыта. В 1984 году я писал одновременно две книги. Одну заведомо в стол, про тайные опыты с экстрасенсами в институте Академии наук СССР, с надеждой, что когда-нибудь ее опубликую. Другую книгу о найденных рукописях Михаила Шолохова, думал, у меня вырвут из рук. Произошла перестройка. Общество жаждало перемен и мщенья. Книгу о запретных прежде экстрасенсах тиражом в 200 тысяч экземпляров выпустил «Политиздат», сам предложил напечатать по высшей ставке. А книгу о «Тихом Доне» не приняло в Москве ни одно советское издательство, ни один толстый журнал! Шолохову мстили по-смертно. Спустя десять лет чудом удалось в новом издательстве выпустить ее тиражом в 5 тысяч экземпляров, которые не находили спрос.)

После неожиданного для власти успеха на стадионах счастливцев подвергали публичной порке. Но партия в эпоху Хрущева и Брежнева не столь сурово наказывала. И порой миловала. Такой милостью служили поездки за казенный счет за границу, а для избранных — бесплатные квартиры в высотном доме. Так соседями поэтов стали народные артисты СССР, лауреаты бывших Сталинских премий, военачальники и просто большие начальники.

...На три года раньше Евтушенко прописался в высотном доме автор «Треугольной груши». Это произошло по справке паспортного стола



---

25.2.1966 года. И по настоящее время числится здесь жильцом Андрей Андреевич Вознесенский. Местоположение квартиры оказалось самым желательным. Рядом на пригорке укоренился к тому времени Театр на Таганке, где шли сотни раз «Антимиры» и впервые вышел на сцену с гитарой Высоцкий. Там, на стене, фломастером появился автограф: «Все богини, как поганки, перед бабами Таганки».

— Он часто певал у нас в доме, особенно когда мы жили рядом с Таганкой, пока аллергия не выгнала меня из города. Там, на Котельнической, мы встречали Новый год под его гитару. Он был с Люсей Абрамовой. (Вторая жена Высоцкого. — Л. К.)

Елку завез Высоцкий. Тамадой выступал Сметхов. Гости, «наливая, что бог послал», угощались горячей картошкой и сочной селедкой. Вспоминая встречу Нового года, Вознесенский видит, как на эти силуэты набегают гости других ночей. Сюда входил молодой Олег Табаков, появлялся Юрий Трифонов, автор «Дома на набережной». Там читала стихи Белла Ахмадулина, «высоко закидывая свой хрустальный подбородок». Туда навевались Хмельницкий и Золотухин. В этой квартире пел «Коней» Высоцкий, бледнея и напрягаясь, так, что страшно становилось на него смотреть:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!

В гостях на Котельнической набережной ночью побывал брат убитого президента США Эдвард Кеннеди с женой Джоан. Она, торопясь на аэродром, забыла сумку с косметикой и тол-

---

стой пачкой долларов, так что пришлось утром послу США прислать за сумкой своих охранников, морских пехотинцев. Все это и многое другое приключилось в высотном доме.

В отличие от Евтушенко Вознесенский о своей тайной жизни до недавних лет не распространялся, делал исключение для учительницы Елены Сергеевны, полюбившей, на свою беду, уникального школьника, дружившего с Пастернаком. «Самое близкое — не для прозы. Их свет сохранился в стихах, которые они мне подарили». На стихи обоих сочиняли музыку. (За песню «Миллион алых роз» из Японии шлют Вознесенскому доллары.)

Оба всю жизнь спешили на помощь, туда, где боль, «где плохо». (И хорошо, добавлю от себя.)

Стихи обоих ныне публикует страница-ми «МК».

Существенное различие состоит в том, что один живет ныне в некоем городке Талсе штата Оклахома, США, в четвертом браке с Машей и двумя сыновьями. Там, в преклонные годы, учительствует в заштатном колледже. Власть, которую привел в Кремль своими стихами, отвернулась от защитника Белого дома. Из ее рук Евтушенко не принял орден.

А другой живет в России, на Таганке и на даче Литфонда в Переделкине, которую повадились грабить, в браке с Зоей. Ей посвящена загадочная поэма «Оза», которую редакции долго отвергали, чуть было не доведя автора до самоубийства. В поэме героиня называется и своим именем по паспорту — Зоей.



*Рукопожатие заклятых друзей спустя 30 лет  
(Стоп-кадр с видеокамеры)*

На 850-летию Москвы Вознесенский сказал  
в лицо отцам города:

Живу в твоей высотке,  
Пока что у Державы  
Нет улицы Высоцкого,  
Уже есть Окуджавы.

Будет и улица. Памятник Высоцкому — на бульваре, недалеко от «моих семнадцати лет на Большом Каретном». Памятник Булату появился на Арбате. Евтушенко пророчит из штата Оклахома, что могилу ему выроют на Руси и памятник поставят как «редкому фрукту». Без всякой просьбы изваял Вознесенского в бронзе давний друг Зураб и выставил на Пречистенке.

---

Сам Вознесенский о собственном памятнике не высказался. И правильно сделал. Лучше о нем не думать. А писать стихи, как делает он, появляясь с ними в длинном коридоре «МК» на пути к экранам, где верстается очередной номер газеты.



*...Так вышло, что масленица в 2008 году совпала с юбилеем недавно ушедшего от нас поэта Анатолия Кобенкова. У меня собрались гости. Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко оказались за одним праздничными столом. И... пожали друг другу руки. Спустя тридцать лет. Все эти десятилетия длился их напряженный молчаливый диалог: кто — первый? И вот они встретились, посмотрели друг на друга, — и у обоих в глазах появились слезы. Одному — уже 75, другому — вот-вот стукнет. И оба они — первые! И в каком-то смысле оба — последние...*



### **ДАЙТЕ МНЕ ДОГОВОРИТЬ!**

Из интервью с Анной Саед-Шах  
(«Новая газета. 2008)

*— Я видела документальный фильм, где тогдашний глава СССР Никита Хрущев обрушил на вас поток гнева. А вы всего лишь хотели прочитать стихотворение. И что меня поразило: вы не стали оправдываться, дескать, Никита Сергеевич, вы меня не так поняли! Не извинялись. Вы пы-*

---

*тались остановить его, громко требуя со своего места: «Дайте мне договорить! Дайте мне договорить!» Неужели не испугались?*

— Это звучит нескромно, но я всегда был уверен, что ничего со мной не случится — у меня другое предназначение. Предчувствие другой судьбы.

*— Что вы чувствуете по поводу нынешнего изгнания поэзии на зады общественного внимания?*

— Сама поэзия осталась такой же, как и была. На периферию внимания ушла плохая поэзия, а хорошая — осталась. Конечно, она не завоевывает стадионы, как в 60-е, но поэзия и не предназначена для стадионов. Тогда она заменяла и политику, и религию.

*— Раньше поэзия заставляла и думать, и чувствовать. А теперь под нее хотят, в основном, танцевать.*

— Это не страшно. Страшно убывание самого языка.

*— Известно, что цыплят по осени считают, а поэтов — по периодам: ранний-поздний. Реже — зрелый. А что вы думаете о своих творческих периодах?*

— О своих периодах самому поэту говорить трудно. В ранней юности, например, у меня был период любви к Пастернаку. Но когда Борис Леонидович начал хвалить мои стихи за то, что они, наконец, стали похожи на его (даже некоторые строчки совпадали), я испугался. И чтобы не попасть окончательно под мощное влияние Пастернака, я стал придумывать себе другие периоды. Например, период Велимира Хлебникова. А если серьезно, то считаю, что у поэта бывает два периода: музыкальный и видео.

---

— Ваш музыкальный период — довольно увесистый. От песни «Миллион алых роз» до крупных форм с Щедриным и Рыбниковым. На ваши стихи сочиняли музыку лучшие композиторы того времени: Бабаджанян, Таривердиев, Паулс, Мартынов... Да и сегодня, я знаю, молодые реперы воспринимают многие ваши стихи как классные тексты. А видео период — это ваши видеомы?

— Да, он длится последние лет десять. Хотя, конечно, в чистом виде оба эти периода не существуют.

— У вас никогда не было чувства, что какие-то ваши стихи написал совсем другой человек?

— Было наоборот. Когда-то в Ялте я проснулся в гостинице и увидел на столе листок, исписанный моей рукой. Это было стихотворение, которого я не знал. Вероятно, оно мне приснилось, я встал и записал. Некий голос пытался мне внушить, что стихотворение не мое. Но я точно знал, что это не так. Это было: «Ты меня на рассвете разбудишь...»

— Кстати, о голосах. Если поэт и вправду пророк, то вы наверняка себе или стране что-нибудь накаркали?

— Пастернак никогда не разрешал писать о смерти и болезнях.

— Судя по вашим стихам, вы Пастернака слушались.

— Я его обманул. Помня, что само пророчество закодировано не в смысле, а в словах, я в стихах местоимение «Я» заменял на «ты». Хотя в детстве я на пророчил технический прогресс. Это были стихи о птицах:

---

Крылья прижимаются, как руки,  
и превращаются в ракеты.

А, в основном, у меня не пророчества, а предчувствия. Однажды в Новосибирске, совсем молодым, опьяненный бурными аплодисментами и проводами, я приехал в аэропорт в окружении своих поклонников. Сдал багаж. А в самолет не сел. Самолет этот разбился.

А когда я последний раз виделся с Робертом Кеннеди, он сидел под лампой и я почему-то увидел, что он не живой. Решил, что это из-за освещения. Я сказал об этом Алену Гинзбергу. А через месяц Роберта убили. Он был молодой, мускулистый, полный сил.

— *А вы сами следовали чьим-нибудь предостережениям?*

— Никогда. Во мне вообще нет никакого смирения. Я так и не научился склоняться под ударами судьбы.

— *А если вам говорили: направо пойдешь — беду найдешь?*

— Я шел направо.

— *Я знаю, что в ящике письменного стола Пастернака лежала папочка с надписью «Андрюшины стихи».*

— Да, Наталья Анисимовна Пастернак нашла. Во время разгрома дома папка не пропала. Борис Леонидович имел привычку, читая и Пушкина, и Толстого, и современную литературу, ставить карандашом на полях, напротив понравившихся абзацев, строчек или стихов не галочки, а длинные палочки.

---

— *Вы помните ваши палочки?*

— Еще бы! Он был гений, а я — пацан. Я скоро эти стихи опубликую.

— *Вы, я знаю, оказали существенную помощь в открытии музея вашего учителя после его многолетней опалы.*

— Я помню этот день. Приехал Артур Миллер, тоже недавно ушедший от нас. Он тогда сказал, что если бы во время войны Гитлер поймал Пастернака, то расстрелял бы его дважды: сначала как еврея, а потом — как русского интеллигента.

## ПОЭТ И ИГРА

Розыгрыши набирают силу.

На пляже писательского Дома творчества царил Божидар Божилов — долговязый болгарский поэт и гаер. Он забавлял публику новеньким немецким шумовым пистолетом. «Болгарская рулетка», — объявил он и приставил дуло к твоему обнаженному животу. «Ну, розыгрыш», — восхитились вокруг. Ты смутилась.

Раздался выстрел. Ты согнулась пополам. Все ржали.

Оказалось, что шумовые пистолеты заряжаются парафиновым шариком, который, как мы пробовали после, пробивает тонкую доску. Шарик пробил кожу живота и запутался в подкожных связках.

«У человека должно быть два пупка, как два глаза», не сдавался весельчак. Я не убил его тогда, так как надо было, не теряя ни секунды, везти тебя в госпиталь.



---

Сзади на почтительном расстоянии ныл Божилов. И протягивал мне пистолет: «На! Стреляй в мою жену. В порядке обмена».

Боже мой, я и сам греховен в пошлейших розыгрышах. Помню, как я впервые привез в Россию «уоки-токи — дистанционное переговорное устройство на десять километров. Оно походило на продолговатый транзистор с антенкой. Никто у нас не подозревал о его существовании.

Так вот, в Ялте, в Доме творчества, шло застолье справляли день рождения Виктора Некрасова, тогда еще не эмигранта. Во главе стола был К.Г. Паустовский, стол заполнял цвет либеральной интеллигенции. Среди них находился и крымский прозаик Славич, прямой, кристально честный автор «Нового мира».

Вика Некрасов попросил меня устроить какой-нибудь розыгрыш. Мы решили использовать для этого неизвестный нашей публике мой «уоки-токи».

«Транзистор» с антенной стоял передо мной на столе. «Андрей, — обратился ко мне новорожденный. — Сегодня по «Голосу Америки» должно быть твое интервью. О! Да вот как раз сейчас! Надо сказать, что «Голос Америки» тогда запрещалось слушать. Это придавало остроту ситуации.

«Боже мой, как мне надоели интервью!..» — Я возмущенно ушел из комнаты. Закрылся в туалете. И оттуда повел свой репортаж.

Как я был остроумен! Как поливал всех, находящихся за столом. Называл имена. Разоблачал их как алкоголиков, развратников и приспособленцев. Собственно, я мыслил свои филиппики как пародию

---

на официальную пропаганду. Паустовский был назван старомодным. Главный алкаш был, конечно, Вика. Я гнусно подлизывался к власти, утверждая, что Брежнев более великий, чем наши либералы, потому что он может выпить не закусывая больше водки и у него больше баб. Когда я перешел к писателю Славичу, мне рассказывали, что тот среди полной тишины обескуражено произнес: «Славич — это я».

Тут дверь раскрылась, вошел Вика и смущенно сказал: «Андрей, может, хватит?» Я на всем скаку прервал поток своего идиотского вдохновения.

В столовой меня встретило гробовое молчание. Константин Георгиевич, побледнев от гнева, произнес: «И он пил с нами вместе, этот мерзавец, ел наш хлеб. А что он болтал там, зарубежным корреспондентам?!» Возмущенные гости кричали, выходили из-за стола.

— Вика, расскажи им, что это розыгрыш, что ты сам меня просил об этом, — взмолился я, поняв ужас произошедшего.

— Друзья, мы же знаем его, это я его просил устроить розыгрыш, имейте чувство юмора, — защищал меня, да и себя Виктор Платонович.

— Ах, розыгрыш?! Значит, мы плебеи? Значит, вы дурачите нас вашими заграничными игрушками? — справедливо возмущенный Славич бросился к Некрасову и мощным матросским ударом двинул в лицо. Хлынула кровь из рассеченной губы. До конца жизни у Виктора Платоновича сохранился шрам на нижней губе.

До сих пор я чувствую стыд. Больше я никогда не занимался розыгрышами.

---

## ПОЭТ И УСАДЬБА



*На въезде в городок писателей Переделкино все еще висит доска с обнадеживающей надписью «ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА». Но, как известно, нарушение заповедей — излюбленная русская забава, по крайней мере с 17-го года. А потому никто уже не удивляется, что в лесу то и дело раздается топор дровосека. Больно уж велик соблазн — построить себе избушку квадратов эдак в 500 — в самом сердце отечественной литературы. А как еще по-скорому приобрести? Не книжки же читать, в самом деле.*



**ДМИТРИЙ БЫКОВ  
И АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ**

(Из интервью)

— Я оказался в Переделкине благодаря аллергии. Она внезапно у меня началась в городе — стало лицо краснеть и опухать, и я заметил, что после дня за городом становится легче. Сам не знаю, что это было. То ли из-за пыли, то ли из-за бензина, то ли мне просто стало тогда тошно в Москве. Просить у начальства я никогда ничего не умел — не в силу какого-то особенного нонконформизма, а просто потому, что это отдельное искусство. Надо быть своим, а своим для начальства я быть не умею. Ни тогда, ни теперь. Тогда за одолжение могли потребовать что-то сказать или написать, теперь могут письмо при-

---

нести на подпись — поддержите, мол... И дачи долго не было. Только в конце шестидесятых на даче крупного советского литературного генерала, детского писателя по совместительству, обосновались собственные его дети — он жил в другом доме — и прожгли там пол, готовя прямо в помещении шашлык. От дачи они отказались, половина ее досталась пролетарскому поэту Василию Казину, глубокому старику, а две комнаты без кухни — нам. И я сразу туда уехал. Перед смертью Казин свои комнаты передал нам. Он написал, что Вознесенский — хороший поэт и что ему невмоготу было смотреть, как мы ютимся. Вообще люди 20-х годов ко мне относились лучше, чем многие ровесники, — в них жила благодарная память об авангарде, о Маяковском, и я многим обязан их доброму отношению. Тот же Катаев, основатель «Юности», открывавший шестидесятников... Чуковский, которого я еще застал в Переделкине...

— *Я слышал, что Чуковский был как раз стариком злым и ядовитым.*

— Это не так, это говорили и про Катаева: наверное, время его испортило, он научился говорить официальные речи и подписывать, что нужно, но люди они были чрезвычайно доброжелательные. Хотел бы я посмотреть на человека, тем более писателя, которого не согнула бы такая жизнь! А они остались собой, и не в последнюю очередь благодаря Переделкину. Там человек жил на виду, все становилось понятно, надо было как-то беречь лицо... Я вообще видел в жизни очень мало действительно злых

---

людей. Если человек озлоблен и мстителен, он или болен, или алкоголик.

— *А где был этот ваш первый дом?*

— Он стоял на улице Тренева. Я потом на том же участке выстроил дом для молодых поэтов, чтобы они могли приезжать: не членом союза в дом творчества не пускали.

— *Вам не кажется вообще, что дом творчества — странное заведение? Съезжаются люди, чтобы творить...*

— Если составить когда-нибудь летопись русской литературы, сколько всего было написано в этом доме, — список будет достойный.

*Зоя Богуславская, прозаик, очеркист, жена Андрея Вознесенского, добавляет:*

— Там завязалось очень много романов, как литературных, так и околотитературных. Обитательницы дома творчества ходили в гости на дачи, и начиналось... Если же брать вещи чисто литературные — существование этого дома оправдано уже тем, что Евгения Гинзбург там писала «Крутой маршрут».

— *Андрей Андреевич, а как вы считаете — само создание писательского поселка в Переделкине было благодеянием или имело сугубо прикладной смысл? Собрать всех писателей в одной деревне, чтобы дать им видимость усадебного быта, а при этом за всеми следить?*

— Это было не благодеянием, а благом. Разница в том, что намерения Сталина — одно, а получившийся результат — другое. Мы его намерений не знаем. Может, он хотел всех писателей повязать привилегиями, потому что когда у людей заводятся

---

клановые привилегии — одни у писателей, другие у врачей, третьи у шахтеров и т.д., их труднее объединить на борьбу с чем-то общим, каждый держится за свое. А может, ему нужна была витрина писательского благополучия.

Получилась же счастливейшая возможность жить и работать в одном из лучших мест России, где было имение прославленного славянофила Самарина, человека исключительного ума и дальновидности. Из тех славянофилов, которые запросто могли спорить и дружить с западниками. Поэтому в Переделкине и не было склочности, был дух корпорации... Тот же Солоухин, традиционалист и почвенник, был моим соседом — и мы не враждовали, а в трудное время он первый меня поддержал. И все удивлялся, как это я не боюсь властей.

Врут, что писатели не могут жить вместе. Принадлежность к этому отряду — это само по себе уже такая черная метка, что сплачивает поверх любых разделений.

*— На вашей памяти были живые примеры переделкинского единства?*

— Один из символов Переделкина — писатели, сбежавшиеся тушить дачу Федина, эту самую. А командовал тушением Пастернак. Он в экстремальных обстоятельствах отлично владел собой.

*— А как же слухи, что Переделкино сейчас совсем не то, что его испортили новорусши?*

— А это, понимаете, особенность времени. Опять-таки отношения новорусского с русским. Ведь русское и советскую власть к себе приспособило, и эту эпоху отлично приспособит.

---

Не Переделкино испортится, а дух этой местности рано или поздно исправит всех вновь прибывших. Что-то такое в пейзаже. И что-то такое в России, что она из всех своих передраг в конце концов делает Переделкино.

Переделывает, так сказать.

*«Собеседник»*

### **ЗАПОВЕДЬ**

Вечером, ночью, днем и с утра  
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.  
Благодарю за священность обряда.  
Враг по плечу — долгожданнее брата,  
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера  
сад мой и домик со старой терраской,  
был бы вчерашний, позавчерашний,  
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла  
ты, что зовешься греховною силой —  
чисто, как будто грехи отпустила,  
дом застелила — да это ж волшба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!  
Стал бы будить тебя некий мужчина.  
Это же умонепостижимо!  
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.  
Нужно прочесть приговор, не ворча.

---

Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».  
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,  
не совершай мы волшебных ошибок.  
Жизнь — это точно любимая, ибо  
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волшба.  
Может быть, завтра скажут: «Пора!»  
Так нацарапай с улыбкой пера:  
«Благодарю, что не умер вчера».

1972

### МОЛИТВА МАСТЕРА

(из «Дамы трэф»)

Благослови, Господь, мои труды.  
Я создал Вещь, шатаемый любовью,  
не из души и плоти — из судьбы.

Я свет звезды, как соль, возьму в щепоть  
и осеню себя стихом трехперстным.  
Мои труды благослови, Господь!

Через плечо соль брошу на восход.  
(Двуперстье же, как держат папироску,  
боярыня Морозова взовет!)

С побудкою архангельской трубы  
не я, пусть Вещь восстанет из трухи.  
Благослови, Господь, мои труды.

Твой суд приму — хоть голову руби,  
разбей семью — да будет по сему.  
Господь, благослови мои труды.



---

Уходит в люди дочь моя и плоть,  
ее Тебе я отдаю как зятю, —  
Искусства непорочное зачатье —  
Пусть позабудет, как меня зовут.

Сын мой и господин ее любви,  
ревную я к тебе и ненавижу.  
Мои труды, Господь, благослови.

Исправь людей. Чтоб не были грубы,  
чтоб жемчугов ее не затоптали.  
Обереги, Господь, мои труды.

А против Бога встанет на дыбы —  
убей создателя, не погуби Создания.  
Благослови, Господь, Твои труды.

1974

## ПОЭТ И ОДИНОЧЕСТВО

*Алена Карась*

### **«100 МИНУТ ПОЭЗИИ» В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ МУЗЕЕ**

*(25 октября 2006 г.)*

«Территория» закончилась, и уже можно подвести ее предварительные итоги. Лучшего повода, чем вечер «100 минут поэзии в Политехническом», и придумать нельзя. Среди множества более или менее явных культурных жестов была и попытка вполне гамлетовского свойства — связать распавшуюся связь времен. Именно для этого вечер поэзии (а их и без «Тер-

---

ритории» проходит немало) устроили в Политехническом музее — культовом месте «оттепели», ставшем символом целой художественной и политической эпохи. Там не просто молодые поэты читали свои стихи, туда стекалось новое поколение творцов и потребителей искусства, чтобы отпраздновать свое мировоззренческое единство. Собственно, идея единства, отчетливое желание вместо индивидуалистического «я» восторженно проскандировать «Мы!!!» витала и над новым вечером поэзии в Политехническом.

Собственно, целью этого вечера, как и всей «Территории», и были поиски новых героев. В интонации вечера это стальное и героическое начало входило в комическое и порой нелепое противоречие с содержанием самих стихов. Анатолию Белому пришлось начать вечер сразу вслед за кадрами из фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича», где публика Политехнического внимает его поэтам. Быть может, оттого актер внезапно перепутал стихи молодого Дмитрия Плахова со стихами Евгения Евтушенко, звучавшими здесь 40 лет назад. Раскаты социального оптимизма, ходульный патриотизм, дежурное чувство «оптимистической трагедии» прорывалось то и дело и в некоторых других выступлениях — у Чулпан Хаматовой, в роскошном черном платье вышедшей читать стихи Наили Ямаковой, или у Леры Сурковой, читавшей Марию Протасову.

Собранные в один котел стихи десяти поэтов не представляли никакого внятного единства. Видимо, помимо всякого желания устроителей вечера (его режиссером являлся Кирилл Серебренников, репетировавший еще в горя-

---

ченьких лаврах Римского кинофестиваля), живых и противоречивых поэтов вогнали в жесткий гламурный формат. Собственно, в таком формате пробалансировал и весь фестиваль «Территория», доказывая нам и себе, что радиальное искусство может быть и в шоколаде.

Из-под власти формата «100 минут поэзии» вырвался Андрей Вознесенский. На сотой минуте Кирилл Серебренников попросил его прочесть стихи из его новой поэтической книжки. И Вознесенский... захрипел, потому что иначе он уже не может читать стихи. Он шептал, а зал, замерев, пытался (быть может, впервые за весь вечер) вслушаться в смысл слов. Вот это было настоящее.

## ТЕРЯЮ ГОЛОС

### 1

Голос теряю. Теперь не про нас  
Гостелерадио.  
Врач мой испуган. Ликует Парнас —  
голос теряю.  
Люди не слышат заветнейших строк,  
просят, садисты!  
Голос, как вор на заслуженный строк  
садится.  
В праве на голос отказано мне.  
Бьют по колесам,  
чтоб хоть один в голосистой стране  
был безголосым.  
Воет стыдоба. Взрывается кейс.  
Я — телеящик

---

с хором из критиков и критикесс,  
слух потерявших.

Веру наивную не верну.  
Жизнь раскололась.  
Ржет вся страна, потеряв всю страну.  
Я ж — только голос...

Разве вернуть с мировых свозняков  
холодом арники  
голос, украденный тьмой Лужников  
и холлом Карнеги?!

Мной терапевтов замучена рать.  
Жру карамели.  
Вам повезло. Вам не страшно терять.  
Вы не имели.  
В Бюро находок длится дележ  
острых сокровищ.  
Где ты потерянное найдешь?  
Там же, где совесть.

Для миллионов я стал тишиной  
материальной.  
Я свою душу — единственный мой  
голос теряю.

## 2

Все мы простуженные теперь.  
Сбивши портьеры,  
свищет в мозгах наших ветер потерь!  
Время потери.

---

Хватит, товарищ, нить, идиот!  
Вытащи кодак.  
Ты потеряешь — кто-то найдет.  
Время находок.

Где кандидат потерял голоса?  
В компре кассеты?..  
Жизнь моя — белая  
еще не выпущенной

Го, горе!  
P you,  
м м  
ос те ю!

### 3

...Ради Тебя, ради в темном ряду  
белого платья  
руки безмолвные разведу  
жестом распятыя.

И остроумный новоосел —  
кейс из винила —  
скажет: «Артист! Сам руками развел.  
Мол, извинился».

Не для его музыкальных частот,  
не на весь глобус,  
новый мой голос беззвучно поет —  
внутренний голос.

Жест бессловесный, безмолвный мой крик  
слышат не уши.  
У кого есть они — напрямик  
слушают души.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Пророк не в своем отечестве? . . . . .	7
ПОЭТ И РОДНИК . . . . .	11
Гойя . . . . .	14
ПОЭТ И СЛОВО . . . . .	15
ПОЭТ И УЛИЦА . . . . .	21
Тарковский на воротах . . . . .	30
ПОЭТ И РОДНИК . . . . .	33
Елена Сергеевна . . . . .	38
<i>Дмитрий Быков. В зеркалах: Вознесенский</i> . . . . .	42
ПОЭТ И ОДИНОЧЕСТВО . . . . .	50
Кроны и корни . . . . .	55
ПОЭТ И РОДНИК . . . . .	57
Прадед . . . . .	65
ПОЭТ И СЛАВА . . . . .	66
Ода сплетникам . . . . .	69
Первый лед . . . . .	70
Антимиры . . . . .	71
«Сидишь беременная бледная...» . . . . .	73
ПОЭТ И ПЛОЩАДЬ . . . . .	74
Пожар в Архитектурном институте . . . . .	79
Рублевское шоссе . . . . .	81
Бьют Женщину . . . . .	82
Осень в Сигулде . . . . .	84
Бьет женщина . . . . .	87
Неизвестный — реквием в двух шагах с эпилогом . . . . .	89
<i>Белла Ахмадулина. Об Андрее Вознесенском</i> . . . . .	92
ПОЭТ И ЦАРЬ . . . . .	97
Тишины! . . . . .	128
«Нас много, нас может быть четверо...» . . . . .	129
ПОЭТ И СЛОВО . . . . .	132
Вступительное . . . . .	133
Стриптиз . . . . .	134

Монолог Мерлин Монро . . . . .	135
Жизнь всегда не удается. Потому что быстро кончается... (Из интервью с Сергеем Семеновым) . . . . .	138
ПОЭТ И ПАМЯТЬ . . . . .	144
Андрей Вознесенский о Владимире Высоцком (Из интервью с Еленой Белостоцкой) . . . . .	148
На сороковины Высоцкого . . . . .	151
Памяти Владимира Высоцкого . . . . .	152
Смерть Шукшина . . . . .	153
А. Мень . . . . .	154
На смерть Юрия Щекочихина . . . . .	156
Ю.Д. . . . .	157
Часовня Анны Политковской . . . . .	158
Похороны Абдулова . . . . .	166
Из Автореквиема . . . . .	168
ПОЭТ И СЛОВО . . . . .	173
<i>Павел Басинский.</i> Об Андрее Вознесенском . . . . .	175
<i>Александр Шуплов.</i> Об Андрее Вознесенском . . . . .	177
<i>Олег Хлебников.</i> Об Андрее Вознесенском . . . . .	182
ПОЭТ и ОЗА . . . . .	188
Оза ( <i>Поэма</i> ) . . . . .	190
ПОЭТ И ДЕНЬГИ . . . . .	214
ПОЭТ И АВОСЬ . . . . .	220
«Авось!» ( <i>Поэма</i> ) . . . . .	223
<i>Андрей Ванденко.</i> Из интервью с Андреем Вознесенским . . . . .	243
ПОЭТ И СЛАВА . . . . .	253
ПОЭТ И ЦАРЬ . . . . .	259
ПОЭТ И РОДНИК . . . . .	260
ПОЭТ И УСАДЬБА . . . . .	264
Из интервью с Владимиром Кожемякиным . . . . .	271
ПОЭТ И СЛАВА . . . . .	277
<i>Уильям Джей Смит.</i> Поэты и переводчики . . . . .	280
ПОЭТ И ОДИНОЧЕСТВО . . . . .	297
ПОЭТ И ЗОЯ . . . . .	300

---

Киж-озеро . . . . .	303
Замерли . . . . .	306
Свеча . . . . .	307
Зоя Богуславская ( <i>Разговор за чаем</i> ) . . . . .	308
Сполох . . . . .	310
<i>Юнна Мориц</i> . Об Андрее Вознесенском . . . . .	313
ПОЭТ И ПАМЯТЬ . . . . .	332
Волшебное деревянное сердце виолончели . . . . .	340
ПОЭТ И УСАДЬБА . . . . .	345
ПОШЛИ МНЕ ГОСПОДЬ ВТОРОГО . . . . .	347
Песня Акына . . . . .	348
Олег Хлебников . . . . .	349
Диалог поэтов	
Евгений Евтушенко	
На «хвосте» . . . . .	350
Андрей Вознесенский	
Плач по братку . . . . .	354
Ответ Евгению Евтушенко . . . . .	354
Из интервью Василия Аксенова	
«Независимой газете» 17 декабря 2004 г. . . . .	356
<i>Лев Колодный</i> . Больше, чем поэты . . . . .	358
Дайте мне договорить! <i>Из интервью</i>	
<i>с Анной Саед-Шах</i> ) . . . . .	363
ПОЭТ И ИГРА . . . . .	367
ПОЭТ И УСАДЬБА . . . . .	370
Дмитрий Быков и Андрей Вознесенский	
( <i>Из интервью</i> ) . . . . .	370
Заповедь . . . . .	374
Молитва мастера . . . . .	375
ПОЭТ И ОДИНОЧЕСТВО . . . . .	376
<i>Алена Карась</i> . «100 минут поэзии»	
в Политехническом музее . . . . .	376
Теряю голос . . . . .	378



Литературно-художественное издание

СТИХИ И БИОГРАФИИ

**Вознесенский Андрей Андреевич**

**ДАЙТЕ МНЕ ДОГОВОРИТЬ!**

Ответственный редактор *А. Корина*  
Художественный редактор *А. Новиков*  
Технический редактор *В. Бардышева*  
Компьютерная верстка *О. Шувалова*  
Корректоры *О. Благова, Н. Борисова*

ООО «Издательство «Эксмо»  
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

**Оптовая торговля книгами «Эксмо»:**  
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,  
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.  
E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми  
покупателями** обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»  
E-mail: [international@eksmo-sale.ru](mailto:international@eksmo-sale.ru)

**International Sales:** *International wholesale customers should contact  
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.  
international@eksmo-sale.ru*

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформ-  
лении,** обращаться по тел. 411-68-59 доб. 2115, 2117, 2118. E-mail: [vipzakaz@eksmo.ru](mailto:vipzakaz@eksmo.ru)

Подписано в печать 08.07.2010.  
Формат 84х108<sup>1</sup>/32. Гарнитура «Гарамонд».  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,16.  
Доп. тираж 3000 экз. Заказ № 4002453

Отпечатано на ОАО «Нижполиграф»  
603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

ISBN 978-5-699-40482-7



9 785699 404827 >

Стоит ли напоминать, что Андрей Вознесенский – один из самых выдающихся поэтов второй половины 20-го века и начала нынешнего, 21-го! Это и так знают все. Он ворвался в русскую поэзию, как принц на белом коне метафоры, сразу став лакомым куском для эпигонов и критиков! Покоритель дворцов, площадей и стадионов – мечта самых прелестных женщин мира! В этой книге впервые лучшие стихи поэта переплетаются с важнейшими вехами его судьбы. Впервые собраны не только прежде неизвестные факты биографии, воспоминания, но и беседы с известными журналистами, высказывания критиков и собратьев по поэтическому цеху.



ЭКСМО

ISBN 978-5-699-40482-7



9 785699 404827 >

